А. КОЛПИНСКАЯ

ТРАМОНТАНА

★

РАССКАЗЫ ОБ ИТАЛИИ





ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА ★ 1928 ★ ЛЕНИНГРАД

ОБЛОЖКА РАБОТЫ
худ. ЛЕВИНА

★

ОТПЕЧАТАНО
В 1-й ОБРАЗЦОВОЙ
ТИПОГРАФИИ ГИЗ'а.
Москва, Пятницкая, 71.
Главлит № 95166. Гиз № 22176.
Заказ № 3684. Тираж 5000 экз.

ITALIA LA BELLA.

Италия...

Узкая полоса земли, убегающая далеко в море, насыщенное историей. «Сапог», стремящийся перешагнуть с одного материка на другой.

Страна, в которой преемственность древнего творчества своеобразно сочетается с ковкой новой эпохи.

Где наследственность великой культуры сказывается в каждом жителе: в линиях его тела, в его жесте, в складе речи, изысканной и точной, равно — у профессора и у поденщика.

Страна великих противоречий.

Дважды тысячелетняя культура — и процент безграмотности, превышающий царскую Россию, изысканная речь и размеренный жест, — и тяжкое ярмо самого неприкрытого рабства безземельных крестьян и батраков...

Чудесные благоухающие сады ценных плодовых деревьев, море, богатое рыбой и солью, — и беспощадная пеларга, национальная проказа, следствие недостатка хлеба и соли.

Страна, где живы еще традиции национальной борьбы за независимость и уже встают во всей своей остроте классовые противоречия промышленного государства.

Чья история говорит о Спартаке, о Сицилийской Вечерне.

Страна, недавно пережившая «Красную неделю» восстания рабочих в Болонье.

Где в настоящем: иго фашистов, горячая любовь к освобожденному русскому пролетариату и твердая вера в свою революцию.

ТРАМОНТАНА *).

С вечера поднялся ветер. За ночь трамонтана разыгралась во-всю. Взбесившийся ветер гигантскими скачками колесил по острову, срывал с балконов цветочные горшки, загибал на крышах железные листы, сбрасывал на головы редких прохожих черепицы и путал телеграфные провода. Море ревело, как стадо быков.

Риккучио часто просыпался ночью от воя и пронзительного свиста ветра. Иногда ветер визжал совсем как свинья, которую кололи вчера, и тогда мальчик, уткнувшись кудрявой головой в иссохшую грудь бабушки, начинал плакать: он пас бедную Неро целый год по склонам холмов, и Неро никогда не кусала его и всегда слушалась.

Бабушка гладила его кудри жесткой ласковой рукой и тихонько уговаривала.

Несколько раз вставали с соседней кровати дед и дядя Дженаро и выходили в сад.

*) Северный ветер, достигающий в Италии силы урагана.

Риккучио знал, что они ставят огромные тростниковые щиты для защиты апельсиновых деревьев, с которых трамонтана безжалостно отрясала зреющие плоды. В соседней комнате ходила мать, хлопали ставни за окном, и плакала сестренка в колыбели. Ночь казалась бесконечной, потому что, сколько ни засыпал и снова просыпался Риккучио, — все еще было темно и холодно.

Это была самая длинная ночь в году, и, казалось, никогда не наступит день.

Но день настал и прогнал страхи Риккучио. День был скверный, холодный. Гнулись и стонали деревья, небо лохматилось грязными клочьями облаков. Трамонтана окончательно разозлилась. Ветер выл и ревел так, что надо было наклоняться к уху, чтобы быть услышанным. Море выплескивало далеко за скалы желто-седые валы. На улицах совершенно исчезли прохожие.

— Носи апельсины! — крикнул дед мальчику, заглядывая в дверь кухни, где у ярко горевшего очага Риккучио с болью в сердце и слюной во рту наблюдал, как мать и бабушка варили в котелке «котекину» *) из останков несчастной Неро. Мальчик охотно побежал за дедом.

С толстым шерстяным отцовским шарфом на шее и широкой плоской корзиной в руках Риккучио переходил от дерева к дереву, подбирая упавшие золотые плоды. Невысокие, круглые, с темно-

---

*) Особый сорт колбасы.

зеленой глянцевитой листвой деревья, несмотря на ограждавшие их щиты, резко и неуклюже раскачивались под бешеными порывами ветра и время от времени роняли апельсины. Тяжелые шары шлепались на землю и лопались, обнажая сочную кровавую мякоть. Лишь немногие, еще незрелые, не разбивались и лежали, желтея на черной влажной земле.

Чудесный, изумрудно-зеленый сад Гесперид — плод долгих трудов и нескончаемых забот — медленно оголялся. Холодные руки трамонтаны протискивались сквозь щели щитов и трясли стволы, перегибались через каменную гряду высокой стены, ограждавшей сад с севера, и безжалостно трепали округлые вершины прекрасных деревьев, невидимыми змеями стлались по земле, срывали и бросали в грязь благоуханные апельсины.

С энергией отчаяния борется старик-дед с страшным врагом. Вместе с дядей Дженаро он ставит и снимает, переносит и снова ставит огромные тростниковые стены, которые под порывами ветра гнутся у него в руках, как бумажные, и визжат, как живые. Лица у деда и дяди багровые от усилий. С деда упала шапка, и трамонтана безжалостно треплет его седые длинные волосы.

Риккучио овладевает буйная веселость. Он во все горло запевает песню и, ругаясь, как взрослый, тащит к дому корзину за корзиной и опорожняет их на полу террасы у кухни.

Бабушка, укутанная в большую желтую с зелеными клетками шаль, сидит на полу и перебирает апельсины: она кладет в одну кучу уцелевшие недозрелые фрукты и те, которые только отделались пятном при падении; они пойдут в Неаполь. В другую кучу она откладывает апельсины с небольшой трещинкой. Сегодня же дочь снесет их в пансион для иностранцев и продаст экономке по-дешевке. Сильно треснувшие разойдутся за домашним столом. А те, которые совершенно разбились при падении, Риккучио снесет молодому поросенку, оставшемуся одиноким в своей загородке.

Риккучио забирает в подол передника растерзанные с кровавой мякотью плоды и несет их к загородке. Чумазое рыльце осиротевшего поросенка с визгом тычется между кольями и жадно тянется к Риккучио. Печальные воспоминания овладевают Риккучио: «Бедная Неро! Вон и солома валяется за сараем, на месте вчерашнего убийства...»

Трамонтана разбросала ее по всему двору, но на самом месте человеческого преступления часть ее удержалась стоптанной влажной кучкой.

Риккучио торопливо вываливает апельсины за колья и бегом направляется к террасе. Трамонтана подхватывает в свои холодные объятия тоненькое детское тельце и отбрасывает его в сторону, прямо на ствол большого фигового дерева. Мальчик пребольно ушиб плечо и делает отчаянные усилия,

чтобы отойти от дерева, но трамонтана крепко держит его точно приклеенное к стволу тело. Риккучио долго борется с невидимым упорным врагом и, наконец, изогнувшись, ныряет к земле и, не разгибая спины, зигзагом добирается до террасы.

— Дьявольское трамонтано, porca Madonna *), — мужественным голосом произносит он, потирая ободранное плечо.

Бабушка ахает.

— В такой день, и такое богохульство! А! Риккучио мой!

Риккучио смущен. Завтра сочельник. Поэтому-то и кололи вчера свинью; поэтому-то в церкви и устроен вертеп, а по острову ходят пифферари **), приезжающие из-за моря, оттуда, с тех гор, вершины которых можно иногда видеть в очень ясные дни. Они одеты в штаны из козьих шкур и закутаны в огромные жесткие плащи, за спиной у них болтается музыкальный инструмент, из которого они извлекают прекрасные стихири.

Риккучио никогда не покидал острова, мать тоже еще не ездила на материк, но бабушка была там один раз и рассказывает диковины о машинах, которые бегают по улицам без лошадей, давят людей и рычат, как звери. Дед и дядя ездят раз в год на материк, но они говорят только о ценах на

---

*) „Свинья Мадонна“ — распространенное в Италии ругательство.

**) Музыканты-горцы, играющие на волынке.

рыбу и апельсины. Поэтому рассказы бабушки много интереснее.

В ответ на укоризненное замечание бабушки мальчик садится рядом на пол и, нежно заглядывая в глаза старухи, просит:

— Расскажи о Неаполе!

— Что ты, какой Неаполь теперь? Иди, носи апельсины!

— Я устал, — протестует Риккучио, — потом трамонтана оцарапала меня. Смотри! — Он стягивает с плеча фуфайку и показывает бабушке красное пятно на плече.

— О, бедняжка! — восклицает бабушка. — Я сейчас смажу тебе это маслицем.

— Не надо! — тянет Риккучио. — Не ходи! Лучше расскажи мне о городе, тогда у меня перестанет болеть.

Старуха польщена. Так редко теперь просят ее рассказать. А когда она, обуреваемая старческой болтливостью, захочет вслух погрузиться в далекие воспоминания о жизни, которая ушла навсегда, безвозвратно утекла, как дождевые потоки с гор, никто не слушает ее.

— Расскажи-и! — тянет Риккучио и кладет голову на колени бабушки.

И бабушка начинает рассказ.

Лет тридцать тому назад она ездила в Неаполь за покупками на свадьбу дочери. В черном платье, с парадной золотой цепью на груди и яркими кораллами на шее и в ушах, уехала она в сопро-

вождении мужа и сыновей в тот памятный день с острова, на котором родилась, вышла замуж, рожала и хоронила детей, как и ее мать, и бабка, и прабабка.

Гористый клочок земли среди лазурного моря, сумрачные пинии, гигантские скрюченные кактусы, рыбачьи сети, апельсиновая роща, солнце и ветер и постоянный шум моря бьющегося о скалы, — вот мир, который знала она.

Ни разу не переступила она его границы, — белой ленты прибоя, неумолчно стучащегося в каменные берега ее родины.

На качающейся лодке, замирая от страха и волнения, подъехала она к пароходу.

— О, сыночек, что это за машина!

— Я видел ее, — гордо говорит Риккучио.

— Ты видел ее с берега. А когда на нее взойдешь, это совсем другое. Это я не умею рассказать, но это огромно.

— Про город! Не надо про машину! Расскажи про город! — протестует Риккучио.

И бабушка вспоминает дальше.

Когда поехал пароход, ей стало так тошно и так страшно, что она заболела. Муж поил ее вином, сыновья давали нюхать и жевать зеленые лимоны, — ничто не помогало. Забыв о черном платьи, парадной золотой цепи на груди и шелковой шали, она качалась, как пиния под трамонтаной, изрыгала на палубу желчь из внутренностей своих, и душа ее каждую минуту расставалась с телом.

Как жалела она, что поехала, как молила мужа не везти ее дальше!

Муж только смеялся и говорил, что все пройдет на берегу. И когда ослабевшие ноги ее коснулись земли, действительно, все прошло. Осталась только слабость. Настоящее чудо!..

Но в городе голова ее закружилась не меньше, чем на пароходе. По улицам, вдоль домов бежали люди и кричали во все горло, размахивая руками и шляпами. Совсем, как сорвавшиеся с цепи бешеные. Посреди улицы, сломя голову, мчались нарядные кароццы*), блестящие, как зеркало, с пестрыми зонтами над сиденьем. Это еще что! По самой середине были протянуты сверкающие железные полосы, и по ним, звеня и качаясь, вихрем проносились огромные кароццы без лошадей, с окнами и дверями, как дом.

Другие кароццы, тоже без лошадей, со страшным гудением катились без всяких полос, куда вздумается, черные, дымящиеся и весьма опасные для прохожих.

Крепко держась друг за друга, дед и бабушка с сыновьями гуськом переходили улицы, предварительно долго постояв на тротуаре. В самые бурные дни дед с меньшей осмотрительностью бросал свою лодку на бушующие буруны.

Волны огромного города куда опаснее, и из-под автомобиля не выплывешь, как из-под соленой пенящейся массы водяного вала.

---

*) Экипажи.

В магазинах голова еще больше кружилась от обилия товаров и навязчивой трескотни юрких приказчиков. В полутемной лавочке старого Антонио, дремлющего на соломенном стуле под навесом, охраняющим лысую голову от беспощадного сияния солнца, можно оглядеться, отдохнуть от утомительного подъема по белой раскаленной тропинке и неспеша выбрать, хорошенько обсудивши с лавочником все достоинства и самую цену, именно то, что требуется в хозяйстве.

Но в городе, в огромных блестящих магазинах, натертые полы которых блестят ослепительнее белых плит горной тропы, а медные украшения режут глаз больнее солнечного луча, куда неловко входить и где совсем невозможно торговаться под насмешливым взглядом надушенного приказчика в белоснежном воротничке, — в этих ужасных залах, полных нарядных барынь, пришлось накупить совсем ненужной дряни и по безумной цене.

Это мужу хотелось, чтобы единственная дочь, красавица на весь остров, была одета как городская синьорина в день своей свадьбы.

Но и он был смущен в магазинах и только шумно вздыхал, когда приходилось вынимать огромный из овечьей кожи кошелек с деньгами.

Покупки не радовали бабушку, к тому же разболелись ноги, и ее стало даже поташнивать, точно она снова вернулась на пароход. И тогда муж повел ее в тратторию поесть и отдохнуть. И только здесь, на берегу, с которого виднелась привычная

сине-дымчатая даль с далеким туманным пятном родного острова на горизонте, бабушка немного пришла в себя. Хозяин тратории был сыном каприйских родителей, и из их виноградника получалось то превосходное вино, которое освежило запекшиеся уста островитянки. В тени прохладной низкой комнаты, с открытыми окнами на море, за простым деревянным столом, сидя на привычном плетеном из грубой соломы стуле, измученная, потрясенная и растерявшаяся женщина постепенно приходила в себя. Она вытерла пот со смуглых щек и бронзовой шеи, оправила на высокой груди алые кораллы, бледневшие пред пышным колоритом ее губ, пригладила блестящие, как шелк, и черные, как кроны пиний ночью, волосы, и глаза ее загорелись звездами. Ведь она была матерью самой красивой девушки на острове, а дочь походила на мать, как одна дождевая капля походит на другую.

Муж и сыновья, спустив плащи с плеча и сдвинув шляпы на затылок, важно сидели справа и слева и строго смотрели на окружающих. Ароматное ризотто, приправленное шафраном и базиликой, и родное вино вернули усталой женщине ее силы, и красота ее, еще не отцветшая, засияла в полутемной тратории, как вечерняя звезда над облаком.

Глаза многих смотрели на прекрасную островитянку и ее важных спутников. Это были почтительные и весьма скромные взгляды, и хотя от них

крепче билось сердце женщины, муж и сыновья снисходительно принимали их и только еще прямее вытягивались на своих сиденьях.

Но вот из дальнего угла поднялся высокий кудрявый юноша в бархатной куртке с широким развевающимся галстухом на белой шее.

Он неторопливо, слегка раскачиваясь на ходу, перешел комнату и остановился перед столиком, за которым сидели трое мужчин и женщина с алыми кораллами, бледневшими пред пышным колоритом ее губ.

Остановившись, он тряхнул кудрями и, протягивая старшему из мужчин великолепную розу, произнес бархатным голосом:

— Примите, о синьор, знак восхищения артиста красотой вашего выбора!

С тех пор прошло тридцать лет, но до сих пор звучит бархатный голос в ослабевшем ухе, и притупившаяся память свято хранит каждое слово неизвестного артиста.

Самый старший из мужчин, сидевших у раскрытого на море окна с правой стороны прекрасной женщины, медленно встал во весь свой рост, оправил на плечах плащ, снял шляпу и, сказав: «Благодарю вас, синьор»—передал розу женщине.

Вся тратория разразилась рукоплесканием, а хозяин от себя поставил бутылку лучшего каприйского белого...

Бабушка смолкает и, гордо подняв голову, смотрит в далекое прошлое.

Риккучио теребит ее за рукав:

— Ну, а потом? Что было потом, бабушка?

Бабушка качает головой.

— Потом дед твой заплатил за все, и, так как подходило уже время, мы пошли на этот проклятый пароход. И опять болезнь ломала меня и каждую минуту душа расставалась с телом. Но дед твой больше не смеялся надо мной, а ухаживал, как не ухаживал даже до свадьбы.

И старуха снова смолкает, и горделивая улыбка трогает ее иссохшие губы.

Риккучио тоже молчит и смотрит на яркое синее море, на котором чуть заметной полосой выделяется далекий неаполитанский берег.

Там кипит неведомая мальчику жизнь большого города.

В тихие безлунные ночи полоска эта кажется огненной туманностью.

Туда, к этим огням на материке поедет Риккучио, когда вырастет большим. Он не хочет ходить за зелеными круглыми деревьями с тяжелыми золотыми плодами. Не хочет и править лодкой, ныряющей по вечно беспокойным валам, бьющим в каменные стены родного острова. Свое тело бросит он в иные волны и вместо весла возьмет в руки руль рычащей машины, так напугавшей когда-то бабушку.

ГЛАДИАТОР.

За каменной, в ржавой прозелени набережной древней реки начинается длинный ровный серый квартал четырехугольных многоквартирных домов, с квадратной площадью рынка посредине.

На рынке — ларьки с брокколи и салатом, с бараниной и рыбой, ряды с дешевым ситцем, с углем, с посудой. Над рынком по утрам и до полдня визгливый говор растрепанных, в грязных капотах синьор и чад от трехногих жаровень, на которых осенью трещат каштаны и заскорузлые шишки пинии, а в остальное время года румянятся оладьи из каштановой муки. С полдня на рынке тишина, прерываемая изредка воплями бродячих кошек, для которых круглый год — март, да визгом подшибленного пса. Вечером рынок заполнен мальчишками и становится ареной поединков и массовых сражений.

Одной стороной квартал упирается в подножье Зеленого Холма, на котором пестрым красочным амфитеатром легли сады и виллы богатых лавоч-

ников «Вечного Города». Там тротуары выложены гладкими широкими плитами, мостовая залита асфальтом и окаймлена тенистыми узорчатыми акациями и мимозами.

Там, наверху — брезгливое презрение и опасливая настороженность к нижнему кварталу. Здесь, внизу — откровенная ненависть и ярко демонстрируемое издевательство над верхом.

Наверху — элегантный карабинер *) в широком плаще и торжественной треуголке гоняет назойливых оборвышей из Сан-Квазимадо. Внизу — мальчишки считают священным долгом «смазать синьорино» с Зеленого Холма. Но чистенькие дети лавочников редко заходят в Сан-Квазимадо. Гораздо чаще отважная низовая «рагацалья» **) делает вылазки наверх, всячески обманывая бдительность карабинера в плаще и треуголке.

Тогда происходят поединки и массовые сражения уже не на квадратной площади Сан-Квазимадо, а в глубоких оврагах старых заброшенных катакомб дальнего склона Зеленого Холма.

И в поединках — одинаково на площади ли или в катакомбах—победителем всегда бывает Паоло,— «Паоло Гладиатор», краса и гордость Сан-Квазимадо, всего Сан-Квазимадо, а не одной только «рагацальи» квартала.

---

*) Городские полицейские, вербуемые из регулярных войск.
**) Презрительная кличка простонародных мальчишек — мальчишьё.

— Оге, Паоло! Здоров! Растешь? — считает своим долгом оказать Гладиатору внимание каждый, встречающийся с ним в пыльных улицах квартала рабочий.

И Паоло обычно отвечает хриплым петушьим голоском:

— Спасибо! Не беспокойтесь, расту.

Но растет он довольно медленно, и это угнетает Гладиатора. В двенадцать лет по росту ему не дают больше десяти. Он худ, широкоплеч, но пропорционально, и только грудь у него необычайно выпукла и высока, да худенькие детские руки у плеч тверды и узловаты, как корень старой маслины.

Этими руками Паоло кладет в два приема на обе лопатки любого юнца из Сан-Квазимадо и его окрестностей. Даже шестнадцатилетние парни побаиваются Паоло, и не далек тот день, когда он сможет состязаться со взрослыми. Но для этого надо еще подрасти, и весь квартал озабоченно следит за ростом своего любимца.

— Оге, Паоло! Ну как, растешь?

— Не беспокойтесь, спасибо вам, расту понемножку... — мужественно отвечает Гладиатор.

Что сделать, чтобы расти поскорее?

Надо много есть, конечно, но в Сан-Квазимадо много не едят. К тому же Гладиатору нужно питаться мясом, а в доме Паоло, как впрочем и во всех остальных домах квартала, питательный режим — скорее вегетарианский, и мясо, тощее мясо

худосочного ягненка или проросшие жиром кусочки баранины подаются чрезвычайно рэдко. А от макарон толстеют и делается одышка. Это Паоло великолепно знает, как знает весь режим настоящего бойца. Ему нужны кровавые бифштексы из мяса крепкого молодого быка, от которых мускулы сами собой растут.

Старый угольщик, много видавший на своем веку, покровительственно учит Паоло теории боя. За долгие годы много занятий переменил старик: был он и моряком, и чистильщиком сапог, и бродячим певцом, из тех, что с гитарой устраивают серенады под окнами шикарных отелей на забаву чужестранных синьоров и синьорин; пришлось ему служить однажды и в цирке. Младшим конюхом. Но это все равно; в цирке был свой атлет, наезжали на гастроли борцы-чемпионы, и, кроме того, иногда устраивалась и «классическая борьба». Старик великолепно изучил повадки борцов, их образ жизни, приемы борьбы, и всему этому, заменяя забытое собственной фантазией, учит юного Гладиатора из Сан-Квазимадо.

Он больше всех гордится мальчиком и выражает свою любовь тем, что отсыпает матери Паоло угля сверх меры. Правда, за счет точности веса других клиентов, но на это у старика была своя теория социального уравнения.

— Недостойные не смеют требовать справедливости! — мудро говорил он за стаканом красного вина.

Достойнейшим же был Паоло, и в его доме огонь на очаге должен был гореть каждый день.

Славу и надежду квартала грел он, старый угольщик, и мысль об этом в свою очередь согревала его остывшее сердце. Но была у него и другая награда.

Каждый праздник, если только не идет дождь, а дожди не часто выпадают в «Вечном Городе», угольщик и Гладиатор, захватив с собой сыру, вина и хлеба, уходят с пыльной четырехугольной каменной площади. Бок-о-бок, изредка перебрасываясь словечками, переходят они желтый Тибр по старому в арках и статуях мосту и углубляются в сеть узких, кривых улочек старого квартала города, что причудливым клубком спутанных артерий тянутся от разрушенного храма Весты до подножия Капитолия и Палатинских дворцов. Здесь, под синим раскаленным навесом горячего неба, в пряных испарениях бесчисленных овощных и фруктовых лавченок, с раннего утра и до поздней ночи толпится тесным муравейником оборванный черноглазый, пышнокудрый плебс, — тот «civis romanus» *), который с древнейших времен сохранил нетронутым горячее сердце и быструю хватку воинственного племени.

Иностранец редко показывается в этом квартале, и когда появляется фигура, одеждой, походкой и повадкой чужая, будь то англичанин, француз, русский или итальянец не из «Города», ребята обли-

*) Римский гражданин.

пают его надоедливой мошкарой, настойчиво выпрашивая «сольдо».

Паоло любит этот оглушающий даже юные уши квартал, но его спутник относится иначе.

— Грязные плебеи... — отплевывается угольщик из Сан-Квазимадо, ибо даже для серого рабочего квартала жить в этих улицах кажется последним падением.

Пересекши диагональю правый угол квартала, через грязную, поросшую чахлым бурьяном площадь выходят они на широкую, покрытую белой известковой скатертью дорогу, огибающую подножье Палатинского холма. Шум и грохот остаются позади. Изредка пролетит трамвай, вздымая белое облако пыли, да прошелестят сожженные солнцем и изъеденные известкой платаны; прошелестят, точно вскрикнут, и внезапно замолчат. Ноги уже через несколько шагов обуваются в белые башмаки, мешок с едой и фиаско *) с вином тяжелеют, а глотка сразу пересыхает. Старик и мальчик смолкают и тяжело и мерно отбивают такт, уходя все дальше вперед. В свежей тени древней полуразрушенной стены, у широкой пробоины, за которой виднеется другая дорога, удобная и хорошо политая, они останавливаются и вздыхают с облегчением.

У стены растет такая же древняя, как и стена, олива, давно уже не дающая ни плодов, ни тени, из-за стены веретеном торчит верхушка молодого

*) Круглая бутыль, оплетенная соломой.

кипариса, и слышится непрерывный шум и гудение автомобилей.

Путники садятся на выступ стены, над которым особенно кропотливо поработало время, образовав некое подобие стола и седалищ по его сторонам, и неспеша приступают к еде.

Паоло рвет молодыми острыми зубами куски хлеба и сыра, торопливо глотает и залпом выпивает свой стакан вина. Старый угольщик ест медленно, подолгу прожевывая хлеб и заботливо собирая с ладони мельчайшие кусочки сыра. Пьет он маленькими глотками, отставляя от себя стакан и любуясь вином, загорающимся красным пламенем на солнце. К концу трапезы он вытаскивает из свертка плотно завернутый в толстую сахарную бумагу кусок купленного в уличной кухне, прекрасно зажаренного мяса.

— Вот твой бифштекс! — сияя гордостью амфитриона, подает он его мальчику.

Паоло смущенно отказывается:

— Сначала вы, синьор Луиджи!

— Мне вредно мясо, ты же знаешь. Ешь, ешь без церемоний.

И Паоло вонзает зубы в бифштекс.

Мясо уже остыло, но оно мягко, сочно, и с каждым глотком Паоло чувствует, как наполняется его желудок, и приятная сытая истома овладевает всем телом.

Покончив с едой, путники растягиваются тут же у стены, головой в тень и ногами на солнце,

и мирно засыпают под тихий гул молодого каприса и резкие гудки автомобилей.

Солнце уже обогнуло стену. Оно зацепилось за высокий шпиль далекой колокольни, разбухло и багрово покраснело. С близкого моря прилетел предвечерний порыв ветра, тронул свежей ладонью щеки Паоло и взъерошил седую бахрому волос на лысом черепе угольщика. Приятели пробуждаются...

Собрав пожитки, старик и мальчик огибают стену, сквозь дыру переходят на другую ее сторону и новой дорогой поднимаются вверх по холму.

Густые заросли старых лавров отделяют эту часть холма от дороги за стеной,—от «Города», от мира. Все здесь величественно, все вопиет о прошлом. Свидетели древней славы, в прахе лежат огромные камни. Глубокие ниши обрушенных сводов, чернеют в самые ясные дни. Оголенные кости колоннад трагически вздевают грозящие руки к равнодушному небу. Площади, мощенные стертой мозаикой из кремнистого цветного щебня и поросшие пучками лиловатой травы, стали полем сражений ящериц и тарантулов. Здесь, на арене древнего цирка, обычно учит старик юного Гладиатора приемам борьбы.

Сюда направились они в этот жаркий сентябрьский день.

Старик и мальчик выходят на круглую площадь, окаймленную высокими квадратными цоко-

лями, на одном из которых, слабо розовея под лучами заходящего солнца, высится тонкая с надломленной верхушкой колонна.

Старик усаживается у ее подножья. Паоло стоит рядом и с привычным чувством восторга и смущения обводит глазами площадь. Из кратких и бледных школьных уроков он знает историю «Города», в котором родился и жил, в котором родились его деды и прадеды. В крови этого потомка народа, некогда толпившегося здесь, чьими руками были воздвигнуты и колонны и арки и замощена земля причудливой мозаикой, — лежит смутное сознание своего наследственного права на эти развалины, уцелевшие на протяжении долгих темных веков.

Вокруг, как всегда, пустынно и тихо. Даже шум автомобилей, на которых днем катались иностранцы, стих: все они направились в Пинчио любоваться оттуда пламенным римским закатом.

Только воробьи возятся и трещат в ветвях старой оливы, да изредка прошурпит песком ящерица, убираясь с посвежевших камней в нору.

— Ну, мальчик мой, начнем, что ли?

В одной из глубоких ниш под обвалившейся штукатуркой Паоло хранит свое оружие: круглый медный щит и короткий железный меч. Старик сам смастерил ему, полушутя, полусерьезно, эти игрушки из дна старого котла и сломанных угольных щипцов, руководствуясь воспоминаниями о той славной эпохе, когда он служил в цирке, и

россказнями самого Паоло, начитавшегося «Популярной исторической библиотечки».

Сюда Паоло проходит, оторвавшись от созерцания, всегда смутно волнующего его сердце; здесь он раздевается и с мечом и щитом выступает на средину круга.

Старик, сложив на острых коленях огромные черные руки, внимательным оком приковывается к Паоло.

Начинается паолово выступление.

Смуглое отроческое тело то сгибается, то выпрямляется, напружившись, как тугой лук, ритмичными движениями, запечатленными некогда искусной рукой на источенных веками камнях. Из туманной области рефлекса прекрасной линией возрождаются движения давно истлевших в прах артистов этой забытой арены, некогда пышной и шумной, на которой теперь только один дряхлый старик следит за расцветающим талантом.

Лицо юного Гладиатора пылает пурпуром, резкое дыхание высоко вздымает ребра, пот выступает крупной росой на висках и тоненькой струйкой стекает посреди груди.

— Стой — отдых! — кричит старик, высоко подымая руку вверх.

Паоло останавливается и, тяжело переводя дыхание, оглядывается кругом.

Солнце померкло. Широкие тени ползут из углов и покрывают всю площадь. Ниши глядят огром-

ными мертвыми глазами, и кажется, что тени в них шевелятся.

Паоло вздрагивает, поведя плечами. Холод и жуткая печаль овладевают им.

— На, накройся! — Поспешно подает ему старик свою теплую куртку из жесткой овечьей шерсти.

От дальней ниши отделяется длинная черная тень. Высокий карабинер в черном плаще величественно подходит к угольщику, кладет на согнутое плечо тяжелую руку и, строго оглядывая голого мальчика, произносит чеканным голосом:

— Вы арестованы.

— За что? — недоуменно подымает на него сморщенное лицо старик.

— За нарушение общественного приличия.

МАРИЯ ИЗ САРДИНИИ.

У нее толстые ноги с короткой ступней, широкие плечи, привыкшие таскать тяжелые корзины, и могучие бедра производительницы. Над крепкой бронзовой шеей высится небольшая головка с блестящими черными косами и жёлтым худым лицом. Ей тридцать лет. Она в самой поре расцвета женских сил: тело ее крепко, и мышцы постоянно напряжены. И только морщины желтого лица да синева прежде гранатовых губ отмечают вехи уже пройденных тягот на каменистом пути жизни сардинской крестьянки. Она четвертый месяц здесь, на окраине Рима. Четвертый месяц перед глазами ее: склон побуревшего холма Яникуле, толстая каменная стена Американской академии, высокие, вечно шелестящие тростники и узкая насыпь окружной железной дороги, вдоль которой ютятся хибарки безличной столичной бедноты, деклассированного пролетариата, полулюмпена, полусобственника.

За насыпью — холмистая равнина, на которой то группами, то в одиночку мачтами стоят почти черные на пронзительно-синем небе пинии.

Еще дальше в постоянной лиловой дымке — море, от которого непрерывной тягой плывет свежий незаметный ветерок, заставляющий непрерывно звенеть тростник и дающий жизнь Кампанье.

За морем — Сардиния: горы, леса, выжженные беспощадным солнцем равнины. Сардиния, где женщины жёлты от лихорадки и покорны, а мужчины молчаливы, упорны и мстительны, и о которой не перестает скорбеть мариино сердце. Мужу, Антонио, невмоготу стало томиться на острове: голодать самому и не кормить детей досыта, день работать и два дня искать работы. И из года в год платить подати и налоги, государственные и местные, без всякой надежды на лучшее, так как не было у него ни хибарки ни клочка поля, которые можно в минуту отчаяния сменить на билет эмигрантского парохода.

Когда у итальянца нет денег на билет до Америки, он перемещается в пределах своего отечества: южанин едет на север, островитянин — на материк. Это тоже чужая страна; ибо у островитян свои говоры, а у разных провинций полуострова свои, а где чужая речь — там и земля чужая, и жить на ней так же одиноко и тоскливо, как и за океаном, но билет на материк стоит в десять, в двадцать раз дешевле. И Антонио продал осла, продал козу и уехал в столицу. Решительный гла-

ва семейства на собственной спине перевез в новой отчизне с завода, возле которого околачивался поденщиной, на склон к железнодорожной насыпи прогнившие балки, старые листы покоробленного железа и продырявленные товарные ящики и, прибавив к этому мусору немного самодельных кирпичей, глины и краденных в парке Американской академии веток, смастерил своими руками жилье для Марии и трех ребятишек. Четвертый ожидался.

Выпятив свой семимесячный живот, Мария с непривычным чувством хозяйки двигалась по лачуге, обладанье которой умеряло жгучую тоску по родине, и только о том сокрушалась, что стояла лачуга на чужой земле, за которую надо было платить хозяину сорок лир каждое полугодие. Поэтому Антонио жадно искал постоянной работы, пока не нашел на заводе, за десять километров от дома; поэтому Мария развела кур и овощи на небольшом клочке отведенного им каменистого, сплошь заросшего крепким, колючим бурьяном склона дальнего холма.

За каждый кустик хрупкой рассады салата, за каждый бледный стебелек горошка она упорно боролась с неприветливой, многие годы дичавшей почвой.

Но Мария была упорнее камня, и пальцы ее острее колючек цеплялись за землю. И когда четвертый был вынесен первый раз на свет солнца, перед порогом лачуги расстилалось ровное матово-зеленое покрывало торопливо зреющего огорода.

Самый старший ходил от грядки к грядке, сгибаясь под тяжестью огромной лейки, и, поставив ее в нужном месте, облегченно вздыхал и наклонял узкое, длинное горлышко с широкой головкой разбрызгивателя над пышными кустиками.

Двое меньших окаменели у ног матери, таращa огромные, затененные пушистыми ресницами глаза на новорожденного.

Розовые мордочки их тщательно вымыты, руки от восторга сжаты ладошками внутрь. Позой и выражением лиц они напоминают ангелов Корреджио. И Мария с младенцем у груди, побледневшая и освеженная родовой мукой, может служить моделью мадонны для досужего художника.

На лице мадонны — гордость и напряженное ожидание. Гордость — потому что и четвертый тоже мальчик: лишняя пара рук, крепких, цепких, которые помогут удержать землю. Ожидание — потому что сегодня Антонио должен привести с торга молодую телку в хозяйство.

Солнце гнулось над дальним холмом, окрашивая склоны нестерпимым для глаза пурпуром. Колеблющиеся на острых каблучках тоненькие синьорины под выпуклой тенью кружевных зонтиков проходили вдоль зеленой изгороди, отделявшей огород от проезжей дороги. Когда внизу прошумел неаполитанский поезд, на вершине склона показались две тени.

Мария не выдерживает и, сунув ребенка в корзинку с приготовленным для кур кормом, тороп-

ливо идет навстречу купленной телке. Присев пред нею от слабости на корточки, она гладит ее брюхо и чуть намечающиеся сосцы и охлопывает тощий зад. Телка мала; это собственно не телка, а теленок, и кости ее торчат шишками от худобы, но кости эти крепкие, зад широк, и корму вдоль железнодорожного пути достаточно.

Старший будет ее пасти по склонам, младшие собирать клевер у дороги, а она сама каждый кусок поленты, каждую ложку минестры постарается урвать для пойла.

— Красавица, о красавица моя! — бормочет, захлебываясь от радости, Мария и, опираясь на руку мужа, гордо идет домой.

Во дворе голосит в корзинке с кормом новорожденный. Отец медленным, усталым движением берет его на руки и тяжело садится на скамью у порога. Он долго и внимательно, точно изучая сына, смотрит на багровое личико крепко спеленатого младенца и одобрительно качает головой. Голос у новорожденного пронзительный, кулачки крепко сжаты и нетерпеливо барахтаются в воздухе. Одна из крошечных ручек наталкивается на отцовский палец. Кулачок мгновенно разжимается, жадно схватывает палец и пытается подтянуть его к открытому рту.

Щетинистые усы Антонио раздвигает мягкая улыбка. Он подает сына жене.

— Хороший помощник будет! Покорми его.

Мария принимает ребенка и садится на низкий ящик, заменяющий ей табурет, у очага. Пока ребенок, захлебываясь и обливаясь молоком, жадно сосет грудь, она руководит старшим, который накрывает на стол.

— Джанни! Возьми в углу на сундуке скатерть. Постели ее: сегодня у нас большой праздник.

— Я знаю, — кивает старший, — ты сегодня выздоровела.

— Дурачок! Отец телку привел, у вас будет скоро молоко и сыр и масло...

Мария счастливо улыбается. За коровой она сумеет ходить. Еще бы! Жалко, что четвертый не девочка. Пятая должна быть девочка, она уже устает одна с разрастающейся семьей, а теперь растет и хозяйство. Джанни надо бы загонять кур, а стол накрывала бы девочка. И чинить белье помогла бы... Мария машинально похлопывает по спинке засыпающего новорожденного... Непременно девочку. Пятая? Что же, будет и шестая и седьмая... У матери было одиннадцать... Одиннадцать — это много, но девочку необходимо...

И, тихонько покачивая уснувшего ребенка, Мария осторожно поднимает его и переносит в низенький ящик, заменяющий колыбельку.

За столом похлебку разливает отец. Мать зорко следит за тем, чтобы маленькие равномерно черпали ложками из общей для них тарелки. Аппетит Джанни, видимо, ее озабочивает больше всего,

и когда он просит у отца прибавки, мать строго подымает руку:

— Будет: объешься еще.

— Я голоден! — протестует Джанни.

— Возьми хлеба, — и она собственноручно отрезывает ему тоненький ломтик от ковриги, лежащей перед нею.

Сама она еле омочила губы.

— Что-то нет аппетита, — жалуется Мария, прикрывая свою тарелку руками от потянувшихся к ней детских ложек.

Когда Антонио, облизав ложку и тщательно протерши кусочком хлеба тарелку, встает из-за стола, Мария торопливо собирает пустые тарелки и бережно выливает похлебку из своей тарелки обратно в котелок. Похлебки осталось так немного, но она подбавит воды...

«Можно горсточку муки тоже дать, — решает Мария. — Только сегодня. Ведь это — первый день...» — и, виновато оглядываясь, она вытаскивает из-под кровати сундучок, где хранится мука.

Заболтав пойло, она несет котелок в загородку, устроенную под окном хибарки, чтобы и ночью можно было слышать телку, и, присев на корточки, следит, как телка, фыркая и пуская слюни, пьет болтушку. На лице Марии — радость. Она умиленно смотрит на подрагивающие бока, сладостно глотает при каждом глотке телки; и, несомненно, если бы у нее был хвост, она махала бы им в такт качанию палкообразного придатка телки.

Укладывая детей спать, она прислушивается к каждому шороху из-за стены.

Уже лежа в широкой постели, заполненной детскими пухлыми тельцами, Мария вдруг присаживается на шуршащем, набитом ссохшимися листьями кукурузы матраце и тревожно слушает. Но за тоненькой стеной, к которой примыкает сарайчик, все спокойно: телка, очевидно, спит, и, приникнув к стене ухом, Мария ясно слышит ее шумное дыхание.

Все в порядке. И успокоенная Мария решается опустить отуманенную радостью и усталостью голову на подушку.

ГОЛУБОЙ ГРОТ.

Пароход, шумно вздохнув, испускает хриплый вой и останавливается. Путь кончен. Мокрые круглые борта его лоснятся на солнце точно вымазанные жиром бока гигантского морского чудовища. Внизу, где белой полосой лежит еще неулегшаяся пена, покачиваются крохотные узенькие лодочки, ожидающие очереди у спущенного трапа.

— Отель Квисисана!

— Отель Моргана!

— Голубой грот, Голубой грот. — Звонко распевают на разные голоса полуголые лодочники с красными суконными беретами на коротко остриженных головах.

По трапу торопливо и неловко спускаются пассажиры, почти все иностранцы, дамы с измученными, побледневшими от качки лицами. Они с ужасом смотрят на крохотные скорлупки лодочек, которые волны так небрежно качают на округлых хребтах, и почти падают на руки дюжих лодочников.

Матросы ловко швыряют вниз красные чемоданы и бледно-жёлтые плоские корзинки, спеша осво-

бодить пароход от очередной партии путешественников.

Большинство пассажиров, — те, которые с багажом, — направляются к берегу, темной массой скал выступающему из моря.

Несколько человек с небольшими саквояжами и зонтиками в руках нанимают Тонио в «Голубой грот». Они не останутся на острове, а побывав в гроте, с тем же пароходом вернутся в Неаполь. Это случайные попутчики, разного возраста, разной национальности и, вероятно, разных вкусов и привычек.

Средних лет дама с красным славянским лицом первая заговаривает с лодочником о цене:

— Сколько за поездку в грот с одного человека?

Тот же вопрос задает высокий седой пассажир. Молодая парочка, по всему — молодожены, вероятно, южные французы или испанцы, молча улыбаются и садятся в лодку без вопроса о плате.

Муж заботливо усаживает молодую женщину, крепко обнимает ее за талию и свободной рукой подвивает тонкие усы.

Волны качают лодку, пожилая дама вскрикивает, старик плотно сжимает губы, тщательно окутывает пледом сухие, бесконечно длинные, согнутые углом ноги, и лодка несется к гроту, легко скользя по горбатым спинам волн.

Перед гротом лодка останавливает свой бег. У подножья высокой скалы, ярко освещенной солнцем, виднеется небольшое полукруглое отверстие

у самой воды. Оно черно, волны вливаются через него с шумом, и скала над ним подымается грозным массивом.

— На дно, синьоры, на дно! И берегите ваши головы! — веселым тоном фокусника, готовящего необычайный сюрприз, кричит Тонио.

Синьоры покорно сползают на дно и нагибают головы.

Ноги старика нелепым коромыслом торчат над всеми.

Тонио вынимает весла, ложится на спину, хватается руками за толстую железную цепь, протянутую через темный, узкий тоннель, и, быстро перебирая руками, проталкивает через него лодку.

— Закройте глаза! — восторженно командует он и, сделав несколько взмахов веслами, торжественно произносит: — Смотрите теперь, о, синьоры! Наслаждайтесь, синьорины, вы в Голубом гроте!

Лицо его странно голубое, как бы светящееся, сияет гордостью.

Неизреченный голубой свет струится повсюду; голубое пламя дрожащими каплями стекает с поднятых весел; своды пещеры облиты чистейшей лазурью.

С губ посетителей срывается крик восхищения.

— Как прекрасно! О, как прекрасно! — шепчет толстая с красным лицом и бледными глазами дама; рот ее кривится, — ей хочется и засмеяться и заплакать одновременно.

Высокий седой ее сосед сжал руки и, страдальчески сдвинув брови, жадно смотрит прямо перед собой.

Молодая парочка тесно прижалась друг к другу: для них эта сияющая голубизна — наглядный символ их счастья.

Голубое лицо Тонио нежно улыбается. Он лукаво склоняет голову набок. Он добрый волшебник: он дает людям, приехавшим с разных концов света, радость. Ежедневно, если только погода хороша в тот час, когда солнце, обогнув остров, склоняет пламенеющий шар свой к западному горизонту, заливая светом грозный массив скалы над гротом, — привозит он их сюда и каждый раз видит потрясенные, преобразившиеся лица.

Восторг посетителей радует его, виновника этого преображения самых усталых, самых пресыщенных, больных, злых и несчастных. Он знает по опыту, что это ненадолго, и все же каждый раз, когда в голубом свете зажигаются сиянием лица привезенных им людей, его сердце бьется сильнее обыкновенного.

Ему хочется еще больше поразить иностранцев. Щедрость хозяина, гордого своими богатствами, овладевает им.

Он поворачивает лодку к задней стене грота:

— Сталактиты, синьоры, сталактиты! — указывает он на каменные сосульки, свисающие со свода.

Головы поворачиваются, на лицах жадное ожидание новых чудес.

— Какие маленькие... — разочарованно тянет толстая дама.

Высокий худой господин долго критически смотрит на маленькие, такие жалкие, в сравнении с общим сияющим чудесным светом, сталактиты и неодобрительно жует губами. Только парочка снисходительно улыбается и поспешно отворачивается к сияющему зареву.

Пара голых мальчуганов неожиданно вывертывается сбоку лодки.

Их тела блестят тем же чудесным голубым светом, и, когда они ныряют и кувыркаются, возмущенная поверхность воды закипает нестерпимым лазурным сиянием.

Молодая женщина вскрикивает:

— О, небесные амуры!

— Сольдо! Одно сольдо! — тянут из воды голубые ладони мальчики.

Молодой муж бросает им монетку. Сверкая и переливаясь, она спускается вниз, мальчишки ныряют, и один из них ловит монетку.

— И мне сольдо, — просит другой.

И пожилая дама милостиво протягивает ему деньги. Но мальчишка роняет их в воду и ныряет вслед за ними. Чем он хуже товарища? Поймав монетку, он кладет ее за щеку:

— Синьоры, бросьте серебро: вы увидите, как это прекрасно.

— Бросьте серебро! — жадно просит и другой.

Старый господин выбирает мелкую серебряную монетку и швыряет ее в воду. Серебро загорается таинственным бледным огнем и пылает в сапфировой глубине призывным факелом.

Мальчишки наперебой ныряют. Игра увлекает всех: старый и молодой путешественники бросают монетку за монеткой. Молодая женщина хохочет детским смехом и слегка повизгивает. Пожилая дама еще больше краснеет; она не бросает денег и, видимо, порицает такую расточительность.

Мальчики устали нырять. Они тяжело дышат и перестают просить. Но туристам нравится забава, они продолжают бросать мелкие белые монетки в голубые волны, и дети нехотя ныряют еще и еще. Один из них упустил монетку, и товарищ негромко выругал его за это.

Тонио перестает улыбаться. Усилия детей, видимо, озабочивают его.

— Не надо больше, синьора, — обращается он к молодой женщине, — вы слишком балуете мальчишек. Эти лаццарони не заслуживают такого внимания.

Молодая женщина капризно хмурит брови.

— Какой жадный! — шепчет она мужу. — Ему завидно, что мальчики заработают сегодня, — и, взяв из рук мужа портмоне, она выбирает монетку покрупнее и бросает ее детям.

Ни один из мальчиков не шевелится.

— Смотри, они боятся его, какой злой!



Тонио резко взмахивает веслами и поворачивает лодку на месте. Забурлившая волна вспыхивает пламенем, точно от подземного извержения.

Мальчики уплывают к стене грота и взбираются на выступ отдыхать.

В голубом свете их фигурки кажутся статуэтками из зеленой бронзы.

Тонио выпрямляет грудь и, ударяя веслами в такт, затягивает «Санта Лучия». Пассажиры, вытянувшись точно они в ложе театра, слушают. На лицах их — привычная гримаса снисхождения культурных людей к примитиву. Громкий гудок парохода прерывает пение.

— Боже мой! — восклицает пожилая дама. — Мы опоздаем, — и она энергично машет короткими руками на лодочника: — Гребите же скорее, давно пора обратно!

Тонио обрывает песню и молча направляется к выходу.

— На дно, синьоры, берегите головы!

И лодка выходит в открытое море.

За черным отверстием остаются неизреченное лазурное сияние и дрожащие звуки недопетой песни. Море — холодное и серое. Неприятные напряженные улыбки еще держатся некоторое время на серых лицах и постепенно сползают, точно стертые невидимой тряпкой.

Тонио гребет равномерно и быстро, ему хочется поскорее освободиться от пассажиров и обидной скуки.

Туристам неловко недавнего своего восторга, как было бы неловко оказаться раздетыми в обществе.

Они хмурятся, деловито складывают пледы и переставляют с места на место саквояжи.

У черного брюха парохода лодка останавливается. Тонио вежливо снимает свой берет.

— Приехали, синьоры.

В голосе его заискивающие ноты. Туристы так богаты, им ничего не стоит дать «на чай» хороший скудо*). Они набросали мальчишкам в гроте немногим меньше.

И он, благодарно улыбаясь, смотрит на туристов.

Первым вынимает свое портмоне́ высокий старик. Он быстро, почти не глядя, достает монетку и, сунув ее в протянутую ладонь, быстро шагает своими огромными ногами вверх по трапу.

Пожилая дама долго роется в сумочке, ловит крохотное перламутровое портмоне́, раскрывает его, перебирает внутри пальцами в перчатках, кладет портмоне́ обратно, вздыхает, снова роется в сумочке и вытаскивает большой кожаный кошелек с кучей отделений, которые она раскрывает и закрывает поочередно.

Тонио продолжает любезно улыбаться.

Наконец, она находит нужную монетку и подает ее, вздохнув, лодочнику. Тонио вопросительно смотрит на нее.

---

*) Серебряная монета в 5 лир.

Дама багрово краснеет, вынимает медную монету в два сольдо и негодующим жестом сует ее лодочнику. Затем берет свой саквояж и величественно подымается по трапу.

Молодой муж роется в карманах тужурки и жилета, собирает несколько серебряных монеток и хочет отдать их, но жена берет его за руку и говорит на чужом языке:

— Нет. Ты дашь ему только условленную плату. Никаких «на чай». Я хочу наказать его за зависть к детям.

Муж улыбается капризу любимой женщины и, пожав плечами, протягивает одну монету лодочнику.

Тонио смотрит на монету, на молодого иностранца и снова на монету.

— Porca Madonna! — разражается он и, взяв монетку, яростно бросает ее на дно лодки.

ВНУК СИНЬОРЫ АРДЖИИ.

Город еще спит в сером, чуть порозовевшем тумане, а хромой Пасквале уже обходит своих клиентов: синьора капитана, синьора квестора, учителя и акушерку. Звонит внизу у подъезда и ждет, пока старая Луиза или молодая Мариуччиа оденутся, откроют окно и спустят на веревке с высоты четвертого или пятого этажа корзиночку, в которую он кладет теплые ароматные хлебцы: три одинокому капитану, девять многосемейному квестору и по пяти учителю и акушерке.

Пасквале холодно, ноет отнятая после битвы под Сольферино нога, и пальцы покрыты еще джелонями*), несмотря на то, что зима уже прошла и весна залила молоком расцветших миндальных и персиковых деревьев все холмы. Но Пасквале стар, кровь его холодеет, а плащ износился и совсем не защищает своего хозяина от туманов и ветров. Только булочки еще греют распухшие пальцы, и

*) Опухоли от холода.

поэтому после многих занятий: чистильщика сапог, мусорщика, газетчика, старый гарибальдиец остановился на ремесле бродячего булочника.

Когда он отходит от квартиры акушерки, солнце окончательно побеждает туман. Серая, колыхающаяся пелена свертывается и легко уносится к вершинам гор, а в освобожденном, ликующем небе звонят колокола, звонко бьют часы на башне Палаццо Веккио, и кружатся белые голуби под сумрачными аркадами Уффиций. Старый Пасквале сверху узкой, спускающейся к Арно улички смотрит вниз на чудесный город, на сияющие пурпуром волны реки, на далекие зеленые холмы и вздыхает. Прекрасна Флоренция, прекрасна и жизнь! Если бы только было время радоваться бедному человеку...

Вздохнув, он направляется к домику синьоры Арджии.

В доме синьоры как раз открываются ставни, и в окне показывается ее седая головка с пучком волос на затылке и парой огромных, черных, в далекое прошлое глядящих глаз. Синьора давно живет одна и по утрам берет только пару хорошо выпеченных хлебцев. Пасквале много лет уже знает этот широкий дом с высокой узкой башней на самом верху и мраморной памятной доской на стене.

Здесь когда-то, в самый тяжкий момент своей беспокойной боевой жизни, провел ночь, одну только ночь **он**, «Генерале», вождь восставших против иноземного владычества — Джузеппе Гарибальди.

Муж синьоры Арджии, ныне покойный, рискуя жизнью, приютил у себя опасного революционера.

Старому гарибальдийцу дорог этот дом, и трудный подъем на самый верх холма не кажется ему тяжелым.

Под мраморной доской с золотыми буквами он останавливается, чтобы перевести дыхание, и в тысячный раз читает знакомую надпись. И, как всегда, чудится ему, что тень героя витает у этого места, и он почтительно притрагивается рукою к тому месту берета, где полагается быть козырьку военного кепи.

Затем он звонит у подъезда, над которым высечена из серого камня карета.

Синьора Арджия принимает сама хлеб. Из мудрой экономии она не держит прислуги: дети давно выросли и вылетели из родного гнезда и редко навещают ее, «а эти новые прислуги»... С тех пор, как «Генерале» провел ночь в этом доме, многое изменилось в свободном городе цветов.

Синьора ласково отвечает на почтительное приветствие старого Пасквале и, вздыхая, кладет хлебцы на голубую, расписанную причудливыми фигурами тарелку.

— Кофе готово, — сообщает она, — пройди в кухню, Пасквале.

— Слишком много беспокойства, — вежливо возражает Пасквале.

— Иди, иди, чашечка горячего подкрепит тебя; смотри, как сыро на дворе.

И, тщательно обтерев ноги о плетеный коврик у двери, Пасквале бочком входит в дом. Синьора Арджия идет впереди его. Медленно проходят они высокие, заставленные тяжелой старинной мебелью комнаты, через широкие окна которых чудесным видением мелькают: голубое Арно с древним Понте Веккио, кружевная колокольня «Домо», мрачная башня Палаццо Веккио, зеленые холмы солнечного Фьезолэ с черными на синем небе силуэтами гигантских кипарисов...

Проходят через «салон», в боковые двери которого видна комната с широкой под штофным балдахином кроватью, на которой забылся коротким сном в ту памятную ночь измученный погоней «Генерале» и которая до сих пор сохраняется в том самом виде, в каком застал ее внезапный таинственный посетитель.

Проходят обширную, с низким потолком детскую, в которой свято хранятся качающиеся на широких полозьях деревянные резные колыбельки, маленькие плетеные стульчики и вдоль стен стоят продолговатые лари с детским бельем и платьицами.

Внуков у синьоры Арджии нет, и сыновья ее уже не молоды, но когда-нибудь они женятся. Тогда понадобятся и колыбельки, и лари, и все, что лежит в ларях, тщательно сложенное и переложенное пучками высушенной лаванды: старинные из доброго сукна камзольчики, чепчики, свивальники, рубашечки, — все обшитое тонкими паутин-

ными кружевами собственной синьоры Арджии работы. Она просиживает над ними долгие зимние сумерки, когда рано еще зажигать медную о трех фитилях лампадину, а уставшее за день тело просит покоя большого мягкого кресла у розовеющего нескончаемым закатом окна.

В огромной квадратной кухне приятно тепло и пахнет кофе, которое мелодически булькает на низенькой изразцовой плите.

Посреди кухни торжественно возвышается дубовый круглый стол, окруженный тяжелыми прямыми стульями, точно патриарх рода со своим потомством.

Синьора Арджия садится за этот стол только в те редкие дни, когда сыновья, давно блуждающие по свету, вспомнят родной очаг и, всегда неожиданно и всегда не надолго, как бы мимоходом, завернут в отчий дом.

Обычно она сидит за маленьким столиком у окна и оттуда затуманенным взором смотрит на опустевший очаг свой.

Холодом веет от большого стола, и слишком неподвижны высокие стулья.

Вон там сидел всегда «покойник» и рядом с ним старая свекровь, а с другой стороны — она сама, молодая, подвижная, смешливая. И за ней по порядку дети; самый маленький — рядом с ней, крошечный Джиованино с золотыми кудрями, как у отца, и материнскими черными глазами, один из двух оставшихся в живых после ужасной бо-

лезни, опустошившей город много лет тому назад. О, дети! Дети!..

— Как поживают сыновья синьоры? — осведомляется Пасквале, держа в руках белую чашку с черным обжигающим напитком.

И синьора Арджия говорит о последних известиях от сыновей. Старший, — он моряк, — прислал ей открытку из Буэнос-Айреса.

— Это далеко, за океаном, мой бедный Пасквале, — поясняет она.

Пасквале качает головой и причмокивает от восхищения: кто бы мог подумать, что из маленького синьорино выйдет такой храбрый капитан!

Синьора Арджия польщена: старший — ее гордость и слава дома. Но любовь и боль отданы младшему. Только с верным Пасквале делится она своими опасениями и тревогами: Джиованино — неудачник, он — бедный журналист, всегда обременен долгами и любовными приключениями с разными ужасными женщинами...

— Ты знаешь, Пасквале, как это было, в прошлом году еще...

Но тут резкий звонок прерывает синьору Арджию.

— Мадонна! Это, вероятно, бакалейщик! — восклицает она и мчится к дверям.

Бакалейщик заменяет ей газету и охотно исполняет разные мелкие поручения: купить нюхательного табаку, снести письмо на почту и, когда ей нездоровится, сбегать в аптеку за миксту-

рой, рецепт которой когда-то дала ей одна старая римлянка.

За бакалейщиком является один из двух близнецов мясника. Он ездит за заказами на велосипеде, свистит, подымаясь по лестнице, и носит потертый котелок вместо приличного его положению и возрасту берета. Синьора Арджия не любит его, и сухо заказывает этто *) ребрышка ягненка.

С зеленщиком, бравым стариком из Тосканы, где когда-то у отца синьоры было свое поле, она долго обсуждает вопрос, что лучше отварить к обеду: артишок или головку брокколи.

Покончив с заказами, синьора Арджия возвращается в кухню. Пасквале давно кончил свой кофе и при появлении хозяйки подымается со стула.

— Тысячу благодарностей, синьора. Мне пора.

— Сиди, сиди, Пасквале, — протестует синьора Арджия, которая не излила еще своей души привычному слушателю.

Она наливает ему вторую чашку и сама садится напротив.

Пасквале медленно глотает кофе и почтительно слушает рассказ о том, как плохо живется бедному Джиованино и какие скверные бывают женщины на свете.

— Молодой синьор любит женщин, — замечает он, хитро покачивая головой.

*) Гектограмм — 100 гр.

— У него золотое сердце, и когда он женится, это будет прекрасный муж и отец. Но теперь нет уже настоящих матерей, и мужчины неохотно женятся. Они предпочитают легкие связи.

Синьора Арджия тяжело вздыхает, и из глубины ее одинокого сердца вырывается вопль прародительницы, испуганной безмолвием, воцарившимся у ее очага.

— У самой бедной крестьянки в мои годы есть внучата, а я так и помру, не дождавшись этой радости!

Старый Пасквале утешает синьору:

— У синьоры два прекрасных, еще молодых сына, это невозможно. Я старше вас, но я твердо верю, что в дом этот я еще поношу «амарини» для внучат синьоры.

И с этим добрым словом, почтительно раскланявшись, уходит Пасквале со своей пустой теперь корзинкой.

Синьора Арджия идет убирать комнаты.

В ее спальню давно уже заглянуло солнце, и, по доброму старому обычаю флорентийских хозяек, она спешит вывесить на окно широкие простыни и одеяла.

Город совсем проснулся: напротив, в том самом доме, где десять лет тому назад жила крестница синьоры Арджии, синьора Барбара, ярко голубеют одеяла, на углу, над табачной лавочкой, бьет в глаза желтый и зеленый цвет, а внизу, в окнах квартиры квестора, целая радуга красных, синих,

фиолетовых и белых кусков, переливающихся разными тонами на солнце. По всей улице, вниз до самого Арно, развеваются, точно в дни торжественных процессий знамена, разноцветные покрывала.

Солнце заливает дома, оставляя резкие тени на углах и под крышами, по улице снуют мальчишки из лавок, и шумно мчатся вниз к реке группы школьников в коротких плащах и черных фартуках, наполняя улицу серебряным звоном ребячьего смеха.

У синьоры Арджии сжимается сердце от этих звуков, глаза ее тускнеют и когда она переходит с пыльной тряпкой в руках в пустующую детскую, безмолвные длинные лари вдоль стен кажутся ей гробами, в которых похоронены все ее надежды на обильное потомство.

За обедом она ест мало, съежившись на низеньком стуле за маленьким столиком у окна слишком обширной кухни; и послеобеденный отдых не сладок ей.

Вечером, сидя в «салоне» у пламенеющего закатом широкого окна, за которым траурным силуэтом вырисовывается суровый абрис башни Палаццо Веккио, синьора Арджия ждет почтальона, приносящего почту с северных поездов. На коленях ее праздно лежат тонкие желтоватые руки с распухшими суставами пальцев. На столике у кресла поблескивают спицы вязанья. Сегодня синьоре не работается. Не к чему: лари и так уж полны всякого добра, его хватит на дюжину внучат, а

кто знает, раздастся ли когда-нибудь детский лепет хотя бы из одной только резной колыбели в соседней комнате.

Тоска тяжелым плащом окутала все ее существо, и когда у дверей раздается звонок, синьора Арджия плетется медленной старческой походкой, забыв обычную торопливость.

За дверью стоит высокий бледный мальчик. Увидав синьору, он снимает берет, и его золотые кудри блестят в сумраке лестницы.

— Добрый вечер! Что прикажет синьора на завтра? — говорит мальчик, и ломающийся детский голос кажется странно знакомым синьоре Арджии.

— Ты от кого? — спрашивает она, стараясь рассмотреть лицо, туманным пятном выделяющееся из надвигающейся тьмы.

— От Маттео. Я новый, меня зовут Джиованино. Что угодно синьоре?

— Постой, постой, а где же прежний мальчик?

— Уехал в деревню. Теперь я.

— Ты флорентиец?

— Еще бы!

— С кем ты живешь?

— С матерью, она прачка, может быть, знаете, Терезина с Санта Кроче.

— Так ты сын Терезины! Как же, как же, помню. Она девушкой ходила к нам и часто у меня стирала, а потом пропала... Вышла, значит, замуж. Вот как! А кто же твой отец?

— У меня нет отца.

— Умер? О, бедняжка!

— У меня не было отца. Я... — и мальчик вызывающе бросает в лицо любопытной синьоре грубое уличное слово.

Синьора вздрагивает и ничего не отвечает. Ее иссохшая рука торопливо шарит в кармане в поисках спичек.

— Что закажет синьора на завтра? — Нетерпеливо переминается с ноги на ногу мальчишка.

«Какой знакомый голос! Какой близкий сердцу голос!»

Синьора Арджия зажигает спичку, подносит ее к лицу мальчика. Рука ее дрожит. За колеблющимся красным пятном света она видит худое детское лицо с парой огромных, как у нее, черных глаз.

Глаза эти с недоумением смотрят на странную синьору, и с еще детских пухлых губ готово сорваться ругательство.

— Мадонна! — узнает синьора знакомые черты и роняет спичку.

Мальчик пугается.

— Я приду лучше утром... — бормочет он и поворачивается к лестнице.

Синьора с быстротой кошки кидается к нему и цепляется за полу плаща.

— Ради пречистой! Не знаешь ли ты имени твоего отца?

— Мать проклинает всегда Джиованино, не знаю: меня или его! — с отчаянием в голосе почти

кричит мальчик и, вырвав плащ, с грохотом сбегает вниз.

На повороте лестницы мелькает шапка золотых кудрей, раздается стук входной двери, и снова дом погружается в темноту и безмолвие.

ЖЕНА ДЕПУТАТА.

«Нобиле донна», синьора Ольга, жена депутата Камеры, сегодня «принимает». Синьора Ольга славится во всей столице своими приемами, на которых собирается цвет столичной интеллигенции с несколько интернациональным уклоном, потому что синьора Ольга — русская по происхождению.

В уютном салоне, главная роскошь которого — картины и древние вазы, собирается весьма разношерстная публика, и царит всегда непринужденное веселье с примесью изящной свободы для всякого, даже крайнего мнения.

Манеры синьоры Ольги просты и откровенны, руки прелестны, как у ботичеллиевской мадонны, а самовар и английские кэксы придают приемам особый вкус иноземного фольклора.

Тон, улыбка, кивок головы, задумчивый взгляд голубых глаз «женщины с севера» — всем этим прекрасно и с давних пор владеет синьора Ольга, все это выделяет ее из сонма депутатских жен, шаблонных парламентских дам Италии.

И все же сегодня с утра синьора Ольга озабочена и даже волнуется.

Вчера муж, радикал без особой платформы, тем не менее успешно делающий политическую карьеру, сообщил ей имена новых приглашенных им гостей.

— Сам не знаю точно, что можно с ним сделать, но мне кажется, что он пригодится, если удастся обломать его. Словом, я пригласил этого... знаешь, новый депутат-социалист, Андини. Теперь вопрос об интервенции, и необходимо завербовать как можно больше сторонников. Понимаешь, моя умница?

— Он женат? — спросила жена.

— Не знаю... Ах, да, конечно, женат; он вчера говорил, что чуть не опоздал на сессию, так как ребенок чем-то захворал.

— Ну, тогда она не придет.

— Ты думаешь пригласить его жену?

— Ах, мы, женщины, так понимаем друг друга и потом мы не примешиваем политики, а эта война... Разве вы способны так чувствовать ее ужасы, как мы, матери и жены!

Депутат строго сдвинул брови:

— Война — жестокая необходимость. И, когда дело идет о войне — защитнице цивилизации, о последней войне, — каждый должен принять в ней участие.

— Дорогой мой, я все-таки напишу ей? Быть может она сможет притти, дети так часто заболевают.

Депутат недоуменно пожал плечами:

— Как хочешь.

— Я напишу ей. К тому же у меня обещала быть мадам Буасен, знаешь, из французского посольства.

— Ты полагаешь ее «поразить»?

— Нет, нет! Но она будет рада увидеть социалистов. Мы, женщины, так понимаем друг друга, — и синьора Ольга подняла свои прозрачные голубые глаза к лепному потолку.

— Делай, как тебе нравится, — улыбнулся муж, — ты у меня умница.

И синьора Ольга отослала прелестную, очень простую и ласковую записочку к синьоре Андини, жене рабочего депутата от социалистов..

«Придет или не придет?» — с самого утра задавала себе вопрос синьора Ольга.

Как полководец перед битвой, она обдумала и тщательно взвесила все свои средства.

Выбрала самое простое вечернее платье, еле-еле подвила волосы и, после некоторого раздумья, не «возобновила» свой маникюр. «Руки и так хороши, — решила она, — а эта новая барышня кладет слишком много розовой краски».

После обеда синьора Ольга занялась комнатами, предназначенными для приема гостей.

Прежде всего большой салон.

Синьора Ольга, стоя у дверей, внимательно обвела взором обширную круглую залу.

Вдоль стен от одного огромного, убранного вышивками под старинный флорентийский стиль

окна до другого шли невысокие стеклянные шкафы-витрины, сплошь заставленные предметами древнего искусства: статуэтками, вазами, сосудами и теми обломками — пальцами, ступнями, носами, которые так ценятся любителями из иностранцев.

В частых поездках, сначала по инженерным делам, затем по своему избирательному округу, депутат за бесценок скупал у местных крестьян черепки, которые те находили на полях и виноградниках. Клиенты жены, почти исключительно иностранцы из модных кварталов города, бывая на приемах, интересовались древностями и нередко способствовали их удачному сбыту.

Случались комиссионные сделки и более серьезного масштаба, приносившие крупные барыши в стране, запрещавшей вывоз древностей за ее пределы.

Свидетели давно исчезнувшего быта, наивные и странные фигурки обнажали на фоне красного бархата за стеклом причудливые формы и раны, нанесенные временем и киркой крестьянина.

Над ними на стенах висели картины начинающих приобретать известность художников.

Это была своего рода выставка в салоне, часто посещаемом богатыми иностранцами, среди которых попадался иной раз покупатель. Поэтому полотна время от времени менялись в салоне синьоры Ольги.

— Вы видали новую вещь Базаччио? — спрашивала хозяйка своих пациенток. — Право, это ле-

чит переутомление в такой же степени, как и медикаменты.

И она, склоняя к плечу свою крупную белокурую голову, подводила посетительницу к картине.

В этот салон проводились пациенты и просто посетители «подождать», а оттуда попадали одни в кабинет докторши, другие в маленький интимный салон, обставленный глубокими креслами, пуфами, турецкими диванами, чайными и курительными столиками, с изящным инкрустированным пианино у одной из стен.

Комната эта в клубах легкого сигарного и ароматного папиросного дыма, под мурлыканье самовара располагала к удобному сиденью, уютному мышлению и откровенности.

Сегодня синьора Ольга — особо заботливо осматривает маленький салон.

Снимает с консоли две-три нарядные куколки, долго роется на этажерке альбомов, вынимает и кладет на один из столиков скромное издание Домье и Стейнлен. После некоторого колебания она решает заменить «Вакханку» одной из гравюр Менье.

За этим занятием ее застает гость, высокий, бледный молодой человек, писатель и общественный деятель, хорошо известный в столичных кружках под прозвищем «Нового Маццини».

Как близкого друга дома, его не задерживают в большом салоне, а проводят прямо в маленький.

— Я не смогу быть у вас вечером, — объясняет он свой ранний визит, — я уезжаю с вечерним поездом в Авеццано, там произошло землетрясение.

Синьора Ольга всплескивает руками:

— Боже мой! А я ничего не знаю, как же это? О чем думают газеты?!

Молодой человек печально улыбается негодованию синьоры Ольги.

— Газеты напечатают это завтра. Я узнал в министерстве; только что пришла телеграмма, но вы знаете, сейчас все заняты войной.

— Ведь вы тоже за войну? — полуутвердительно, полувопросительно говорит синьора Ольга и поднимает на «Нового Маццини» проникновенный взор, блистающий верой и чистотой. — Не правда ли? Вы не можете не быть за эту великую, за эту славную борьбу против варваров, посягнувших на самые священные заветы человечества.

Молодой человек улыбается еще печальнее.

— Не знаю, синьора, но если у меня будет твердая уверенность в том, что правительства союзников, и наше в том числе, действительно будут вести войну по линии национального освободительного освобождения народов и особенно маленьких народцев, тогда...

— Тогда? — почти пропела синьора Ольга и в неудержимом порыве протянула руки к своему собеседнику.

— Тогда я все свои силы, все мои способности, все мои скромные средства употреблю на пропа-

ганду нашей интервенции. Я сам буду первым волонтером, — твердо отвечает молодой человек, и бледные щеки его розовеют.

— Какое великодушие! Вот она, наша прекрасная молодежь! Вы будете иметь гарантии, увидите! И вам не придется тратить свои средства, наоборот, у вас будут средства. Для такой благой цели все дадут... Кстати, очень жаль, что вы уезжаете, сегодня у меня будет одна прелестная француженка, это такая душа... О, она сама мать и ее сын уже на войне: он атташе при сербском штабе, и все же она за войну. Она будет стоять до конца.

— Нет, я должен уехать.

— Я понимаю. Но когда вы вернетесь, загляните ко мне, я вас познакомлю с ней; она сможет много помочь в деле пропаганды: она сестра крупного чиновника из французского посольства...

Когда посетитель уходит, синьора Ольга, сдвинув брови, заносит что-то в изящный блок-нотик слоновой кости. Она, видимо, довольна.

И вечером, одетая в самое простое из своих платьиц, она очень подробно и очень похвально говорит о своем утреннем посетителе немолодой смуглой даме с пронзительным взглядом черных глаз и губками бантиком. Дама внимательно выслушивает ее и тоже заносит что-то в свой надушенный блок-нотик. Согнув широкую спину, склонив голову набок и обворожительно улыбаясь, депутат говорит смуглой даме:

— Не правда ли, мадам, побольше таких прелестных энтузиастов, и вопрос о нашем выступлении решен.

— О, да, онореволэ*), но необходимо иметь их много больше. Много больше, — выразительно отвечает дама и на мгновенье задерживает свой пронзительный взгляд на сияющем лице депутата.

Лицо это становится внезапно серьезным и жестким, но только на миг.

— В салоне моей жены вы найдете всегда рой подобной молодежи. Она у меня ведь русская и поэтому немножко революционерка. Молодежи у нее нравится.

Синьора Ольга вдохновенно подымает глаза к потолку:

— Это революционная война, иначе я не была бы за нее, — проникновенно говорит она, и смуглая дама ласково улыбается ей. — Не думаете ли вы, что было бы хорошо послать нашему Маццини что-нибудь для этих несчастных из Авеццано? — соображает синьора Ольга. — Какие-нибудь наши старые тряпки. Он так ценит подобное участие!

— Очень хорошо, моя дорогая, я об этом позабочусь, — говорит смуглая дама и снова заносит что-то в свой блок-нотик.

Постепенно заполняются большой и маленький салоны, и прием идет как по маслу. Высокий, очень худой и очень породистый римлянин древ-

---

***) Титул, с которым обращаются к депутатам.**

него рода громким шопотом сообщает в углу у большого камина последние военные новости. Два старых, но воинственных депутата и молодой иностранец на костыле с напряженным вниманием слушают его.

Пара зрелых дев в обширном декольте и с жемчугом в волосах взволнованно твердят благодушному сенатору в черной паре:

— Это позор, сенатор, это срам! Когда же мы вступим в войну наконец? Неужели забыты все великие традиции нашей родины? Ведь народ рвется в бой, понимаете ли вы, рвется, и если мы не дадим ему этой возможности, он бросится на вас, на нас, на всех...

— Ну, это может быть как раз наоборот, — тонко улыбается сенатор.

— Право, это обидно, дорогой сенатор, — вмешивается пожилая дама. — Все француженки давно уже ухаживают за ранеными; у нас столько незанятых молодых девушек, совсем незанятых, потому что ни настоящих приемов, ни балов в Риме теперь уже нет. Кто же их будет устраивать, раз иностранцев нет? И девочки наши так скучают, к тому же они без всяких перспектив...

Сенатор добродушно смеется:

— А во французских госпиталях так много завязывается браков? Милая синьора, не огорчайтесь, все это будет и у нас, будет. Еще нельзя точно сказать, когда именно, но я твердо верю, что честь нации будет спасена. Посмотрим, что скажет Камера.

Дым от папирос обволакивает легкой голубоватой вуалью салон, и синьора Ольга не сразу замечает горничную, делающую ей знаки.

— Они пришли, синьора. Я их пустила в большой салон.

Синьора быстрым движением устремляется в соседнюю комнату, откуда слышен ее воркующий голос, и через минуту она снова в салоне в сопровождении вновь прибывших.

— Синьора Андини, жена нашего талантливого депутата! — говорит она, представляя маленькую, худенькую, еще очень молодую женщину, видимо, сильно смущенную.

— Боже, как вы молоды, — ласково говорит смуглая дама, крепко пожимая своей холеной сухой ручкой большие руки жены депутата-социалиста.

— Это так кажется, мне уже двадцать пять лет, — краснеет синьора Андини.

— Вы еще дитя, прелестное дитя, — улыбается хозяин дома. — Неужели у вас есть дети?

— Двое, онореволэ; было трое, но первенький умер, — и сияющие глаза синьоры Андини туманятся.

— Бедняжка! Это так тяжело терять детей, — вздыхает синьора Ольга и подымает руку к сердцу.

— Синьора тоже теряла? — участливо склоняется к ней опечаленное лицо.

— Нет, нет... Но я думаю об этой ужасной войне. Все мы, матери, все женщины не должны забывать о ней.

— О, как вы правы! — восклицает молодая женщина, и глаза ее сияют радостью разделенной мысли. — Нельзя забыть о ней: подумайте, ведь, случись она позже, наши парнишки должны были бы пойти солдатами, если бы война разразилась у нас.

— Да, это ужас, и надо молить бога, чтобы она скорее кончилась.

— Я ведь неверующая, — просто говорит синьора Андини.

— Вы тоже социалистка? — спрашивает смуглая дама.

— Нет, я «не записана», но «сам» у меня твердый социалист и не верит, а я с ним.

— Бог тут ни при чем, конечно, — говорит синьора Ольга. — Люди сами должны устраивать свою жизнь. Они должны бороться и с войной.

— Если бы матери решали про войну, никогда войны не было бы, — горячо произносит синьора Андини.

Смуглая дама печально улыбается и качает мудрено причесанной головой.

— Конечно, конечно... Но иногда сами матери благословляют своих сыновей на брань.

Молодая женщина недоверчиво смотрит на иностранку и опускает свой взгляд под уколом пронзительных глаз.

— Синьора права: у меня только девочки, но я, если надо, могла бы послать своих сыновей в бой, — подтверждает синьора Ольга и, нагнув-

шись к молодой матери, шепчет ей на ухо: — У этой синьоры, знаете, сын теперь на войне, она не говорит на ветер.

Синьора Андини участливо смотрит на строгую смуглую даму.

— Бедняжка, — шепчет она в ответ. — Но неужели вы могли бы?..

— Могла бы, — твердо отвечает синьора Ольга.

— О, вы это говорите только потому, что у вас нет паренька! Я ни за что, ни за что не сделала бы этого!

Молодая женщина, видимо, взволнована, она оглядывается вокруг, и глаза ее останавливаются на группе обнаженных синьорин, весело и шумно разговаривающих у соседнего столика. Вместе с взрывом хохота до нее долетают слова:

— Я буду ухаживать только за офицерами! Да, да... я откровенна: только за офицерами и только за холостыми! О, война не так часто повторяется!..

— Как они наивны! — улыбается синьора Ольга. — Бедные девочки... Скоро, скоро придется им одеть белые повязки. Надо кончать эту ужасную войну!

— Синьора думает, что Италия вступит в войну?! — испуганно спрашивает молодая женщина.

— Я твердо верю в это. Италия спасет Европу, в этом ее святая миссия. И это решит Камера.

— Мне кажется, — я в этом плохо понимаю, — война нам не нужна. Знаете, в народе никто ее не хочет, у нас в деревнях...

— Нет, нет, не надо думать скверно о нашем прекрасном народе. Он всегда стоял за правду и заступался за обиженных.

Синьора Андини растерянно смотрит на мужа, вокруг которого столпились: сенатор, раненый сербский офицер, породистый римлянин и сам радушный хозяин дома. Все они горячо и убедительно говорят что-то социалистическому депутату, который отвечает короткими репликами, поблескивая зубами и глазами.

Молодой женщине на минуту кажется, что муж ее попал в клетку, так тесно обступили его эти важные синьоры и так настороженны его движения. Но, уловив взгляд жены, онореволэ Андини ободряюще улыбается ей, и овладевшее было ею чувство жути и беспомощности исчезает.

Сидящие с ней синьоры очень мило расспрашивают ее о детях, о том, что скоро их надо будет учить и о дороговизне жизни в Риме.

Синьора Андини, краснея, признается, что жить, правда, очень трудно, но теперь, когда муж стал депутатом, они сводят концы с концами. Конечно, это только пока он онореволэ...

— О, я думаю, что его переизберут и после, он так талантлив и чуток! Я убеждена, что когда вопрос о войне встанет на очереди в Камере, его сердце подскажет ему правильный путь, и в военной Камере он сыграет большую роль, — говорит синьора со смуглым лицом.

— Он далеко пойдет, ваш муж, — вторит ей синьора Ольга, — увидите, я ведь пророчица, он будет вторым Биссоляти*), и кто знает... Теперь наступает истинная демократия. И если социалисты сумеют принять участие в этой мировой войне, они смогут изменить лицо земли, — восторженно заканчивает синьора Ольга, и в неудержимом порыве обнимает плечи молодой женщины.

И от этих неожиданных объятий синьоре Андини кажется, что на этот раз она попала в клетку.

От духов, от дыма сигар, от массы новых впечатлений и речей, плетущих какую-то сеть, — это она чувствует всем своим неискушенным инстинктом, — у жены социалистического депутата начинает кружиться голова.

Она с трудом понимает то, что синьора Ольга, увлекшаяся своей речью, продолжает ей говорить, и механически только поддакивает ей, чтобы не показаться совсем бестолковой.

Она вздыхает с облегчением, когда муж начинает прощаться, и она может отойти от этих воркующих блестящих синьор. Смуглая синьора очень мило просит ее притти к ней в гости запросто с детьми, для которых у нее найдутся настоящие парижские игрушки, и ласково целует ее в обе щеки.

Сам онореволэ подает ей ее простенькое серое пальтецо, а синьора Ольга просит позволения навестить ее.

---

*) Депутат-социалист, сторонник войны.

Синьора Андини целуется, благодарит и обещает; и ей кажется, что вся она опутана какой-то липкой и вредной паутиной.

Когда за ними захлопнулась тяжелая, ярко начищенная дверь особняка, и, вместо теплого, приторного от папирос и дорогих духов воздуха салона, пахнул в лицо сырой туман ноябрьского вечера, синьора Андини взяла мужа за руку и, крепко прижавшись плечом к его плечу, сказала:

— О, какие негодные свиньи все эти буржуа! Знаешь, теперь я поняла все. Запиши и меня в партию. Я им покажу, этим жирным барыням!..

ПОД ПАРУСАМИ.

Шоссе широко, убито камнем и крупными морскими гальками. От Генуи до Рима тянется оно великим путем, по которому некогда проходили железные когорты цезаревых легионов, а ныне, пыхтя и воняя, проносятся автомобили всяких систем, от Форда до Мерседес. Бок-о-бок с шоссе острой стальной стрелой пронзила даль железная дорога, рассыпав на пути станции и полустанки.

У Кави, — хоть и станция, — только на пять минут задерживаются товаро-пассажирские поезда, а скорые проносятся с воплем и грохотом дальше: к Специи, к Риму, к Неаполю.

Сор*) Фредерико, высохший и почерневший от солнца и морского ветра начальник станции, изнывает вот уже десятый год на одном и том же, всеми забытом месте, на самом берегу Тирренского моря.

Станция построена в нескольких метрах от вечно-веющего холодом и мраком входа в длинный туннель под горой Св. Анны. На горе качаются

*) Сокращенное синьор.

одичавшие персики и дряхлые, поросшие серым мхом оливы, и круглый год благоухает одинаково и под дождем и под солнцем базилика. На склоне жена телеграфиста развела артишоки и салат, а сор Фредерико посадил несколько виноградных лоз. Но как только начинают желтеть тощие кисти, их растаскивают все, кому не лень — и дети, и молодой помощник начальника станции, и телеграфист, и больше всех бездельник Бачиче, носильщик и рыбак.

За изгибом горы, за туннелем, и прямо против станции, вдоль насыпи, куда ни кинешь взгляд, — повсюду многоцветное, многоликое, такое огромное, что и станция, и насыпь, и гора Св. Анны кажутся крохотными пятнышками, — лазурное Средиземное море.

По утрам и на закате на нем алеют косые стремительные паруса. С зарей уходят далеко на добычу кавийцы и с зарей же возвращаются домой, к толстым женам, к дымящейся поленте, к короткому ночному отдыху. И снова с зарей — на свежую волну, под шумящие паруса. А жены остаются дома, чинят сети, штопают корявые штаны, сплетничают, варят к вечеру поленту. Вечером на посвежевшем пляже встречают лодки, погружают в них крепкие красные руки, перебирают скользкие, трепещущие тела рыб, складывают в корзины и на голове уносят их к синьору Винченци, скупщику, раскинувшему свои амбары, как паучьи тенета, тут же у станции.

Синьора Винченци в это время гуляет по пляжу с белокурой дочкой, красавицей Сильвией, каждую неделю щеголяющей в новой шелковой блузке, а синьор Винченци сидит на складном кресле у входа в амбары.

На красавицу Сильвию смотрит из телеграфного окошечка печальными влюбленными глазами молодой помощник начальника станции. А носильщик Бачиче из-за водокачки пронзает злым колющим взглядом синьора Винченци.

Бачиче позже других уходит в море и раньше всех возвращается. В половине восьмого утром проходит пассажирский из Генуи, а в шесть вечера другой — из Рима, и носильщик должен быть на вокзале — на всякий случай. Иногда случается, что высадится такой пассажир, который не сам несет свой багаж, и тогда Бачиче перепадает несколько сольдо, а с моря лодка иной раз и совсем пустая приходит. Бачиче не лентяй, но какой бы улов ни был, он все равно попадет в руки скупщику, и сколько ни работай, все так же будет ходить Луиджина в линючей ситцевой юбке, а Сильвия надевать каждую неделю новую шелковую блузку. Этот закон жизни Бачиче давно и твердо усвоил. К тому же он — социалист. Правда, в партию он еще «не вписан», но он читает каждый день «Аванти» и говорит помощнику начальника станции «ты» и «товарищ». Поэтому синьор Винченци неохотно принимает у него рыбу и всячески старается похаять улов. Поэтому-то

Бачиче и смотрит таким недобрым взглядом из-за водокачки, когда Луиджина стоит перед синьором Винченци и пронзительно выторговывает лишнее сольдо.

Глаза у Луиджины горячие, сама она крепкая и ласковая, и даже в вонючей, сырой от рыбы юбке — красавица. Бачиче любит ее ревнивой требовательной любовью и побаивается. Кто знает, что на дне души у красивой молодой бабы? Все равно, как на дне морском.

Луиджина строга с посторонними и почтительна к мужу, но когда однажды пьяный Бачиче замахнулся на жену, брови Луиджины заходили черной тучей и такой молнией загорелись глаза, что Бачиче руку опустил и только выругался — «дьяволица».

Из всех кавиек только Луиджина не боится моря и часто помогает мужу на ловле. Шить она не любит и вечерами, сложив руки, смотрит в даль.

Читать она не умеет, но Бачиче легче читать вслух, и она всегда внимательно его выслушивает, но никогда не говорит с ним о прочитанном.

Детей у них нет и Бачиче сильно горюет об этом.

— На что они тебе? — С гневом возражает на его сетования Луиджина. — Мало работников на синьора Винченци? Хвала мадонне, что не посылает.

Но говорит это она только в утешение мужу. Без детей жизнь ее темна, как без солнца, дом

пуст и дни влачатся длинной и бессмысленной вереницей.

Идут за днями ночи, и новые дни встают после ночей, палящие летние месяцы сменяются сырыми зимними неделями, когда часто бурлит море и беспокойнее сердца рыбацких жен.

Пошли по деревне недобрые слухи, и стало однажды известно, что Австрия начала войну. Появились новые люди в деревнях, повели речи об интервенции, и забились тревогой сердца рыбаков. Шли недели за неделями, месяцы за месяцами, одно за другим государства вступали в войну, и казалось, что огромный костер все больше разгорался там — за Альпами и морем — и грозил полуострову.

В деревню по утрам приезжали на велосипеде газетчики, и рыбаки нарасхват раскупали газеты.

Из них они узнавали о блестящих победах французов, о немецких зверствах и о том, что Италия, вступив в войну, без потерь сможет получить Тренто и Триесте и многое другое. Синдик при записи новорожденных упорно предлагал эти имена для младенцев, но рыбаки их не принимали и никак не могли понять, зачем Италии новые земли, когда есть море.

Молодой помощник начальника станции так прямо и говорил: «не за чем», но его перевели на другую станцию, и не у кого стало брать «Аванти». Бачиче затосковал.

В ближайшее воскресенье, рано утром, собралась Луиджина на рынок в соседний городишко и перед вечером пришла домой.

— Вот, читай, да погромче, — вынула она из клетчатого оттопыренного узла заветный листок и, не отряхнув даже белой известковой пыли с юбки, уселась возле мужа на ступеньке.

Война кровавыми ступнями обходила города и деревни и целые области — там, в чужих землях. Каждый праздник шла по известковой — то раскаленной, то мокрой и леденящей босые ноги — дороге, той самой, по которой некогда ходили римские легионы, шла с непокрытой черной головой Луиджина за газетой мужу.

— Читай о войне, читай! — просила она мужа, подавая драгоценный листок.

Все ближе подходило кровавое чудовище к лазурным берегам, и все больше замирало сердце у Луиджины, и хищным огнем загорались глаза синьора Винченци, зачастившего теперь по делам в Рим.

И в тот самый день, когда пришел в деревушку приказ о мобилизации, скупщик вернулся из столицы сияющий: он получил крупную поставку для армии.

Луиджина, как раненая чайка, металась в доме, перебирала руками окна, трогала двери и снова билась у окон, пока не стемнело и не вернулся из Муничипио Бачиче. Вошел, нащупал в темноте стул и грузно опустился на него.

— Что же? — не своим голосом выговорила жена.

Бачиче не сразу ответил. Долго крутил папиросу и когда зажег ее, Луиджина увидела посеревшее лицо и глаза, как у издыхающего осла.

— Кончено! — тихо промолвил он, крепко затягиваясь папиросой.

— Ты... ты... не пойдешь ты!

Бачиче шумно вздохнул.

— Не пойдешь! Зачем — о, мадонна! — они должны тебя убить? Зачем? «Аванти» правду пишет: богачам нужна война, а тебе она смерть. Ты не пойдешь, Бачиче! — Страстно зашептала Луиджина. — Слушай!

И Бачиче долго слушал в темноте ее горячий шопот.

Три дня худела с лица Луиджина, и заливал тоску любимым квянти Бачиче.

Три ночи, дрожа и волнуясь, шептала Луиджина над ухом хмелевшего от ее ласки и вина Бачиче.

На четвертый день должен был итти на сборный пункт Бачиче, а потому все три дня под ряд пекла и варила, стирала и штопала верная жена, готовя мужа в далекую дорогу. К вечеру третьего дня на терраске у дверей домика стояла уложенная и увязанная немногочисленная поклажа, Луиджина обходила домишко, закрывала ставни и несколько раз уходила отплакаться в курятник.

Ночью, когда уснуло все кругом, просвистел последний курьерский и ушел спать сор Фредерико, — теперь до семи утра ни одного поезда не

будет, — вышел из дому Бачиче с узлами, за ним Луиджина с сундучком на голове. Море тихо шуршало в тумане, поскрипывала лодка, беловатая мгла укутывала даль и гасила звезды. Бачиче сложил поклажу в лодку, свернул на дне кольцами длинную сеть, вправил весла. Луиджина неподвижно стояла на берегу. Сердце ее билось частыми резкими толчками в стеснившейся груди, брови трепыхались, как крылья, ноги все глубже врастали в песок.

— Готово, — негромко позвал Бачиче.

Луиджина шевельнулась и не могла оторвать ног. Они пустили корни глубоко, глубоко, и корни эти тянулись и дотянулись до самого дома с закрытыми наглухо ставнями.

— Готово, пора! — громче позвал Бачиче.

А корни уходят все глубже, все дальше. Идут они из сердца, из рук и спеленали ее всю, и не может она уйти никуда.

Бачиче подходит к жене.

— Что же ты, приросла, что ли?

— Мадонна! Ох, тяжко мне! — стонет Луиджина и тянет к мужу отяжелевшие руки, просит у него помощи.

И порвал Бачиче корни потому, что смерть угрожала Бачиче. Не было детей у Луиджины, а Бачиче был ей как сын.

Бачиче посадил жену к веслам, нагнулся, напружил руки и, дугою выгнув спину, стал толчками двигать лодку. Песок зашуршал, завизжал,

застонала лодка, и в лодке крепко закусила губы Луиджина.

Тяжело плюхнулась лодка на волны, и снова безмолвно стало на берегу.

— Постой, — спохватился Бачиче, — подожди минутку, — и он бегом побежал вдоль берега к станции и за станцию.

Луиджина, положив руки на весла, ждала, повернув голову в ту же сторону. Вдруг брови ее дрогнули, сердце снова застучало резко и больно. Из тьмы вынырнул бледный Бачиче. Налег на лодку и изо всех сил толкнул ее через линию прибоя. Через секунду он стоял рядом с Луиджиной и дрожащими руками распускал парус.

Луиджина налегла на весла, парус затрепыхался, забился и гордо выпятил круглую грудь. Зашипела под кормой пенистая волна, конем скакнула лодка и понеслась вперед. Туман расстилался перед лодкой, тьма стеной встала за лодкой. И ярким пятном прорезало тьму и заблистало зарево на мокрой серой груди паруса — зарево пожара, охватившего дом синьора Винченци.

ПОСЛЕДНИЙ ЖРЕЦ.

Мулы шли один за другим, цокая по камням копытами, и, поматывая головами, сгоняли москитов, густо осевших на мордах. С корзиной на седле пред собою подвигался во главе кавалькады «тата» Ниченович, старый сербский журналист и общественный деятель. За ним с двумя фиасками, болтавшимися по бокам седла, ехал в узкой военной форме синьор Джино.

С пледом через седло и горным ранцем за спиною, преувеличенно подпрыгивая в седле и вскрикивая то от ужаса на крутых поворотах, то от восторга при неожиданно открывавшихся видах, трусила пожилая добродушного вида дама. За нею ехал «философ» с черной окладистой бородой и газетами, торчавшими из всех карманов светлого пиджака. Шествие замыкали дама с мальчиком, художник с ящиком красок и бледный молодой человек с печальным ртом.

Люди разных стран, охваченных пламенем войны, они случайно встретились этим летом на

холмах, подымавших края широкой «Кампаньи» Рима. Больные, оправляющиеся от ран мужчины, жены или сестры сражающихся на далеких полях— они жили трепетным ожиданием завтра и того непоправимого, что оно может принести с собой.

Сегодня они праздновали день рождения мальчика и всей компанией ехали к старику на горе, известному профессору истории искусств и знатоку многих других наук, прозванному ими за великую любовь к красоте прошлых веков «Последним жрецом».

Глубокий знаток древности и сам уже древний старик, Последний жрец жил зиму в Риме, среди статуй и обломков ваз, а лето неизменно проводил в роще, некогда священной, под тенью тысячелетних дерев, на самой высокой вершине обрамляющих Кампанью холмов, с которой отовсюду был виден Рим.

Густая темная чаща с просветами на Город и море — чистейший бассейн земли — укрывала старика от мира и его суеты, давая возможность погружаться мыслями в далекое прошлое, ибо все то же было пред его глазами здесь: сейчас, как и десятки лет, как сотни веков тому назад.

Тропинка шла сначала петлями, но чем ближе к вершине, тем уже становились петли, и после двух-трех крутых поворотов пропадала совсем. Широкое каменистое поле наклонным щитом подымалось к яркосинему, уже раскаленному, несмотря на ранний час, небу. Мулы пошли медленнее,

осторожно выбирая ногой место среди острых камней. Солнце жгло немилосердно, и всадники торопили мулов, с нетерпением поглядывая на рощу, венцом темневшую на самой вершине.

Последняя часть пути была самой трудной, и мальчик просил пить через каждые пять минут.

Подъем становился все круче; животные и люди обливались потом. Все глядели вниз, на даль, ширившуюся с каждым шагом. У подножья горы зеленым полотном вытягивались широкие полосы Ганнибалова луга, где некогда долгие месяцы простояли его войска, уставшие от побед и все же не решавшиеся войти в Рим. За зеленой полосой шла до самого моря стальным лезвеем, врезавшимся в горизонт, «Кампанья Романа» — сухая, бесплодная, буро-желтая равнина с торчащими костяками разломанного хребта акведуков. И в последней дали, во мгле и тумане — «Вечный Город».

— Хорошо... — вздохнула одна из женщин.

— Нет. Мне не хочется сказать хорошо, мне вовсе не хорошо от этого вида, а скверно, — возразил молодой человек с печальным ртом. — Здесь жутко. Это — могила, кладбище, и то, что оно живет, показывает только, что бессмертие — страшная штука.

— Не надо бояться смерти, — примирительно произнес тата Ниченович.

— Вы не правы, мой молодой друг; вас пугает не то бессмертное, что заключено в этом виде, а смертное, которое сильнее бросается в глаза.

— Разве можно не бояться смерти? — страстно воскликнул художник. — Разве война не чудовищна своим истреблением человечества?

Ему ответил философ:

— Боюсь, что она страшнее другим: тем, что калечит души людей и лицо земли. Но не будем говорить о войне. Это тяжело. Мы решили сегодня забыть о ней. Смотрите на эти облака или вон на того орла, или на уши наших мулов: войны нет, и все, как было.

Никто не возразил философу; глаза всех устремились на острое пятно орлиных крыльев, распластанных над Кампаньей. Пятно дрогнуло, вытянулось, и птица понеслась к морю.

— Приехали! — звонко крикнул погонщик, и мулы, поняв его, остановились у низкой из широкого камня изгороди.

Прохлада охватила путников, как только они перешли за эту изгородь. Группа гигантских каменных дубов с густыми переплетающимися ветвями покрывала тенью всю круглую площадь вершины. Сбоку, у склона к морю белела под черной охраной кипарисов небольшая вилла, вся из террас и колонн.

В нескольких шагах от террасы, под старым оливковым деревом сидел на низкой из серого камня скамье крупный старик с черным, как оливка, лицом и белыми кудрями до плеч.

Он радушно приветствовал гостей, отечески целуя дам в щеки.

Из виллы вынесли плетеные стулья, и гости уселись под оливой вокруг старика. Мужчины сняли куртки, женщины обмахивались легкими бумажными веерами.

— Хвала солнцу! — улыбнулся старик. — Наконец-то мы имеем настоящее римское лето!

Высокая, смуглая, как виноградная лоза, девушка, блестя зубами, глазами и вороненой сталью волос, подошла с круглым медным подносом, уставленным белыми тяжелыми чашками.

Старик широким жестом приветствовал ее:

— Умница! Вот мой нектар, прекрасные синьорины и мудрые синьоры! — и, бережно снимая с подноса полногрудые чашки, подносил их гостям на широкой бронзовой ладони.

Кофе пахло смесью мокко, ванили и смолы и было очень сладко и очень горячо. Мужчины пили его маленькими долгими глотками, медленно обсасывая усы после каждого глотка. Женщины, нагнув лицо к чашке, сначала вдыхали полураскрытыми губами ароматный пар, а потом, опуская веки, втягивали черную благоухающую густую жидкость. Все стихло. Профессор благодушно осматривал собравшихся и улыбался.

Златокудрый мальчик, свесив загорелые худые ножки и запрокинув голову, пил из большой синей чаши молоко. Тоненькая белая струйка стекала у него по вытянутой шейке на ключицы груди, а с висков от корней волос и вдоль по щекам проступали крупные капли пота. Высоко подняв то-

ненькими руками полегчавшую чашу, он втянул последний глоток молока и, оторвавшись от краев, облегченно вздохнул.

— Я кончил! — звонко сообщил он, и потянул к матери красное, потом и молоком орошенное лицо.

— Бедняжка! — нагнулась над ним мать, обтирая и обмахивая его легким белым платком.

Жара достигла апогея. Сухой звонкий воздух раскаленной пеленой неподвижно повис над равниной, скрыв «Вечный Город», и даже здесь, на вершине горы, горячие струи его обжигали щеки и теснили грудь. От земли шел густой запах базилики и мяты, голова слегка кружилась от выпитого кофе, и каждый мускул расцветал и напрягался новой, еще скованной истомой силой.

— Прекрасно здесь! — убежденно сказал художник. — Так прекрасно, профессор, что нет охоты создавать еще что-нибудь.

— Мир насыщен красотой, и блажен тот, кто способен видеть ее, — назидательно произнес старый профессор и обвел кругом широким благословляющим жестом.

Молодой человек с печальным ртом отрицательно покачал головой.

— Профессор — оптимист и потому не прав. Далеко не все прекрасно в мире. Мы, — и голос юноши стал глухим, а взгляд ушел внутрь, — мы знаем кое-что об этом.

Взгляды женщин остановились на говорившем с сочувствием. Мать ребенка тяжело вздохнула:

— Разве можно наслаждаться красотой, дорогой профессор, когда мы видим все эти ужасы кругом?

— Мы их не видим, синьора, и, значит, их нет, — твердо ответил профессор.

— Нет, они есть. Мы знаем о них, значит, они существуют, — запротестовала женщина.

— Я не знаю их, не хочу о них знать, и они перестают существовать. Не надо поддаваться внушению, прелестная синьора. Войны были всегда, и после них человечество продолжало творить прекрасные вещи; никакая война не стоит одного только изгиба руки мраморной Венеры.

— Но, кроомe людей, она губит именно и искусство, — вмешался философ. — Разве не она разрушила древние соборы, библиотеки, музеи и то, что в них находилось? Этого вы не должны ей простить.

— Тогда я не должен прощать и землетрясению. Что такое война? Взрыв человеческой стихии. Ее не было два года тому назад, ее не будет через год, через два или три... Случайный эпизод международной политики. Миг в мировом развитии. Что мне она? Я игнорирую ее вмешательство в историю, — и старик презрительно скривил губы.

— Вы заблуждаетесь, маэстро, — произнес бледный юноша с печальным ртом. — Вы взваливаете вину кучки людей, начавших эту бойню, на стихию, на историю, и вы брезгливо отворачиваетесь от страдания живого тела. Судьба вас может жестоко наказать, потому что вы — люди науки — ничего не хотели сделать, чтобы предупредить ее.

— Люди науки не вмешиваются в политику, — надменно возразил старик.

— Мы — не воины, мы — жрецы вечной истины.

— Не надо о политике! — запротестовала пожилая дама: — ведь мы решили сегодня жить так, как жили до войны!

— Это невозможно, синьора, — тихо и грустно заговорил тата Ниченович. — Мы никогда не сможем забыть о ней. И мы никогда не избавимся также и от чувства нашей вины. Ибо мы действительно согрешили, согрешили ленью и доверием к тем, кто недостоин доверия.

— Это — речи пораженца, уважаемый синьор, и они простительны только в виду великого несчастья, постигшего вашу родину, но мы, солдаты, не должны этого чувствовать. Это война за право существования народов, и... горе побежденным! — веско сказал синьор Джино.

— Это — война кучки правителей, и горе нам, когда народы это поймут! — страстно вскричал бледный молодой человек, и улыбка исчезла с его потемневшего лица.

— Не надо о войне! — запротестовали дамы и художник.

И старый профессор, подняв кверху руку, строго заметил:

— Не будем больше возвращаться к этим вопросам. В доме моем нет места войне. В нем царит одно вечное искусство.

Звон бубенчиков за оградой отвлек внимание спортивных. Маленький тощий мул с огромными мешками по бокам и плетеной корзиной перед седлом остановился у изгороди. Круглый веселый парень спрагнул с седла и, быстрыми ловкими движениями сняв поклажу, звонко ударил широкой ладонью по крупу животного.

— Ге, красавица, иди пасись! — и сняв шляпу, добавил, адресуясь к оливковому дереву: — Добрый вечер благородной компании!

Старик окликнул его:

— Нет ли мне чего с почты, Джулио?

Джулио хлопнул себя по колену и торопливо полез в карман.

— Телеграмма синьору профессору, — подал он желтую полоску бумаги.

— Телеграмма? Мне? — заволновался старик и с опаской притронулся к желтой полоске.

— Ты уверен, что это мне?

— Так сказали на почте. Там написано.

И Джулио с сочувствием посмотрел на старика.

Профессор растерянно огляделся:

— О чем могут мне телеграфировать? — тревожно спросил он окружающих.

Никто не ответил.

Старик дрожащими пальцами поднес к глазам телеграмму.

— Это с фронта, — почти шопотом произнес он, и его черное лицо посерело.

Гости нахмурились, и молодая женщина, крепко сжав руки, умоляюще смотрела на старика.

— С фронта приходят не всегда дурные известия, — ободряюще произнес философ.

Старик решительным движением вскрыл телеграмму. Прочел.

— Они убили моего внука, — холодным голосом произнес он, ни на кого не глядя, и поток слез мгновенно затопил его лицо.

Упав головою на стол, «Последний жрец» зарыдал безутешным страшным рыданием на-смерть пораженного человека.

БЕППЕ КАЛЬЦОЛЯРО.

В Риме есть улица, картинно иллюстрирующая собой лестницу социальных неравенств.

Она круто подымается в гору, и на всем протяжении ее, снизу и доверху, можно проследить переход от низших к высшим. Подошва ее упирается в грязную четыреугольную пьяццу, обставленную по сторонам крошечного фонтана убогими лавчонками, созданными для удовлетворения примитивнейших потребностей плебса. Вершину венчает роскошное палаццо патриция, имя которого встречается в хрониках «Вечного Города» в отдаленнейшие от нашей эпохи времена.

Между этими двумя крайними ступенями расположено множество других. В порядке нарастания за лавчонками, торгующими бараньими потрохами и ношеным платьем, следует мелкая мастеровщина, непрезентабельные прачечные, дешевые квартиры для обойщиков и студентов, подслеповатые мастерские каменщиков, голубятни под крышей для художников, затем мелкое чиновничество,

среднее духовенство, крупное чиновничество. Восхождение заканчивается нарядной виллой бывшего министра, построенной бок-о-бок с парком, окружающим патрицианское палаццо.

На одной из этих ступеней возвышается старый, узкий и высокий дом, сверху донизу набитый разношерстными жильцами. Мансарду под крышей занял лохматый художник из русских эмигрантов. В каморке под лестницей ютится Беппе с женой Марией, кошкой, горшком герани и ассортиментом колодок.

Мария исполняет церберовские обязанности привратницы дома, а Беппе обслуживает жильцов в качестве сапожника. С утра и до вечера он тачает, строчит, набивает, шьет. И хорошо шьет. Каждая пара ног, спускающаяся или подымающаяся по крутой лестнице мимо каморки привратницы, от крошечных ножек трехлетней дочки писаря до огромных ступней мамонтообразного учителя в отставке, — известна Беппе. Он знает ее подъем, ее мозоли, подагрические опухоли и искривления. У него имеются свои любимые ноги, на которые легко и приятно шить, и ноги, в которых он ценит трудности достижения, ибо Беппе — артист.

Кроме того он — анархист и антирелигиозник. Из принципа он отказывается шить плоские туфли с пряжками, узаконенные правилом церкви, для смиренного патера, занимающего квартиру в третьем этаже. Из принципа же по воскресеньям усерднее обычного тачает подметки и отдыхает по

понедельникам. В этот день, а не в воскресенье, готовит Мария к обеду макароны с соусом из потрохов, а Беппе приносит с рынка корзинку салата и фиаско с вином.

К вечеру Беппе навеселе. Во вторник у него трещит голова с похмелья, он ссорится с Марией и демонстративно ласкает кошку, — тощее взъерошенное создание, жалкий экземпляр вырождения тигровой породы.

У Марии трудовой день от зари до зари.

Раз в неделю, утром в субботу, она поднимается на шестой этаж и убирает мансарду русского художника. После этой уборки Мария чихает и отплевывается весь день.

Но Беппе чрезвычайно уважает русского. Он всегда громко приветствует его, когда тот проходит мимо его каморки, сколько бы раз на день это ни случилось.

Русский мало сидит дома, он часто спускается и подымается по узкой крутой лестнице, истоптанные ступеньки которой всегда грязны, несмотря на усилия Марии.

Он, видимо, очень озабочен, карманы его постоянно набиты газетами, и он часто просматривает их на ходу.

В тот день, когда мальчишки кричали о перевороте в России, русский, накупив газет еще больше обычного, не пошел к себе в мансарду, а завернул к Беппе и, прислонясь лбом к закопченному окну каморки, читал, читал...

Никогда не видел Беппе, чтобы кто-нибудь так читал газеты, как русский жилец в тот день.

Прочитав все, он долго еще стоял у окна, и плечи его дергались под потертой бархатной курткой. Потом он сунул газеты в привычно оттопыренный карман, обернулся к Беппе и, крепко сжав его в объятиях, поцеловал, как целуют родного брата после долгой разлуки.

И с тех пор Беппе навсегда привязался сердцем к художнику. Он не позволяет Марии ворчать на беспорядок в мансарде, и когда к нему попадают стоптанные башмаки русского, он, поставив на подошву самый прочный кусок кожи, долго и тщательно, как заботливая мать, штопает все дыры потрепанной обуви.

С каким бы удовольствием сшил он ему пару крепких башмаков!

Но русский беден и подолгу носит старые башмаки, которые то-и-дело мелькают то вверх, то вниз мимо стеклянной двери, у которой работает Беппе, потому что русский теперь совсем не сидит на месте.

На его родине происходят потрясающие события, о которых говорят на всех митингах. События эти волнуют и будоражат и Рим также. На площадях и рынках даже женщины и дети говорят о русской революции, о большевиках и о таинственном Ленине. Это имя встречается на всех заборах, на цоколе бесчисленных памятников, на стенах патрицианских палаццо. Короткое и простое, оно за-

ключает в себе угрозу всем виновным в народном бедствии и звучит в охваченной войною стране как напоминание и предостережение.

Каждое утро муниципальная «гвардия», обзаведшаяся специальными тряпками, стирает это имя со стен и каждое утро находит его снова на старых и новых, казалось, недоступных местах, куда — чтобы добраться — надо приставлять уже лестницу, на потеху изощряющегося в остроумии ядовитейшего римского плебса.

Беппе с восторгом наблюдает эту неравную борьбу полиции с народом и, по мере сил, принимает в ней участие.

В кармане у него всегда теперь лежит кусок мела, который он пускает в ход в момент, когда нет поблизости гвардии и улица достаточно пустынна. И у него всегда готова крепкая острота при виде элегантной гвардии с меловой тряпкой в руках, пыхтящей над уничтожением опасной надписи.

На митингах, в большом доме за Колизеем, где говорит и Бомбачи, и Серрати, и Грамши, после длинных речей лидеров Беппе выступает также с кратким и категорическим требованием большевизма в Италии.

Он окончательно порвал с болтливым кружком анархистов, который палец о палец не ударил, чтобы покончить с войной. Запоем читает «Аванти» и в трудных местах прибегает к помощи русского.

Русскому очень некогда, и все же он на минутку задерживается в каморке Беппе, говорит с ним и объясняет.

Жизнь Беппе полна до краев.

Бедный кальцоляро *) из подлестничной каморки теперь видит нечто большее, чем ноги, мелькавшие пред его глазами в течение долгих лет. У ног оказались туловища, снабженные головами и сердцами.

И многие из сердец бьются в унисон с сердцем Беппе, и многие головы мыслят, как он.

Каморка под крутой каменной лестницей была просто-напросто углом большого шестиэтажного дома, а мир оказался безгранично велик и необычно близок. Стоило протянуть руку, чтобы взять в нем то, что хочешь — лучшее, ибо на него имеешь право.

Мир стал огромным и ярким, всячески доступным и необычайно разнообразным; в нем приходилось двигаться по сложной сети тропинок и широких дорог, встречая на каждом шагу неожиданных друзей и врагов.

И Беппе с юношеским жаром отдался на волю той незримой могучей волне, которая на пенистом гребне своем несла новую эпоху «Вечному Городу».

Беппе забросил сапоги и каморку, он проводит целые дни в большом доме за Колизеем, где немолчный прибой пролетарского моря очищает его грудь от долголетней пыли, запахов и молчания темной клетки под лестницей.

---

*) Сапожник (римский диалект).

Он просто забыл о прошлом, его настоящее — все в ожидании будущего.

И когда однажды, возвратясь домой с особо бурного собрания, он находит на своем рабочем столике пару потрепанных башмаков, он не сразу понимает, в чем дело.

— Чьи это? — Недовольно спрашивает он Марию.

— Этого, твоего... как его, русского, сверху. Он очень просил сделать поскорее. Он уезжает.

— Куда? — растерянно, предчувствуя утрату, говорит Беппе.

— Куда же еще? К себе, в свою страну. Сегодня чемодан себе купил. Сам и тащил по лестнице. Впрочем, чемоданишко дрянной, дешевый, видно. Хозяин очень рад, что он уезжает, большевик несчастный... Книжки собирает да бумаги рвет. Грязи у него теперь! Не пройдешь по комнате...

Но Беппе не слушает жены, он взбирается по полутемной лестнице, торопясь и задыхаясь.

Дверь у русского открыта настежь. Ворох бумаги, изорванной в клочки и брошенной у камина, прежде всего бросается в глаза Беппе. За столом, спиной к двери сидит сам хозяин, нагнувшись к ящику, и что-то вынимает из него. На диване, служащем одновременно и постелью, лежат кучками книги и картины, перевязанные веревками. В широкое, наклонное к полу окно мансарды заглядывает голая верхушка платана, и от ее сиротливого вида комната кажется пустой и холодной.

Беппе кашляет у двери. Широкие плечи в потертой бархатной куртке круто поворачиваются, и с приветливой улыбкой русский приглашает войти.

Беппе сначала говорит о погоде, о своей кошке, которая всегда предчувствует начало холодов, и помямлив еще немного, решается задать трудный вопрос:

— Так вы, синьор товарищ, таки уезжаете?

Голос Беппе хрипит, как после праздничной выпивки, но это не вино, а горе, которое вдруг вцепилось в его помолодевшее было сердце, как кошка в игривого мышонка.

— Уезжаю, — просто говорит русский.

И от этих простых слов последняя надежда гаснет в груди Беппе. Мир стал сразу пустым, и одиночество жалкого кальцоляро достигает апогея.

Русский подымает глаза и видит печать истинного страдания на сморщенном годами и нуждой лице.

— Разве у нас теперь не хорошо? — упавшим голосом вопрошает Беппе.

— Чудесно! — восклицает русский и, порывисто поднявшись со стула, начинает ходить по комнате.

— Чудесно, милый вы мой товарищ Беппе! Но мне давно уже пора домой. Подумайте, я не был там без малого двадцать лет. А у нас теперь много работы, пора, я и так засиделся!

От радости русского и его оживления у Беппе еще больше сжимается сердце.

Ему хочется крикнуть: «а как же я»? Но он чувствует эгоизм подобного рода протеста.

Двадцать лет на чужбине... Это понятно, пора домой.

И, смирив свою боль, Беппе спрашивает:

— У вас там родные, наверное?

— Родные?.. Да, конечно, есть и родные. У нас теперь революция. У нас теперь революция, и сидеть здесь стыдно.

— И у нас будет революция, — упрямо говорит Беппе.

— Будет, — уверенно подтверждает русский, — будет, и тогда я снова приеду, и мы с вами, товарищ Беппе, много еще дел наделаем, — и он крепким братским объятием охватывает плечи опечаленного кальцоляро. — За это время у вас будет много работы. И вы расскажете все, что сделалось здесь без меня.

Широкими жестами он возлагает на итальянского товарища великие обязательства, и спина кальцоляро гордо выпрямляется, и глаза его светятся.

— Вы правы, товарищ, — с достоинством говорит Беппе, — у нас здесь немало работы найдется.

И, присев на диван между книгами и свертками полотен, он долго, задушевно и деловито разговаривает с отъезжающим товарищем.

Потом он затапливает камин, сует в него разорванные бумаги и заботливо укладывает штаны и рубахи в новенький чемодан.

Поздно ночью, успокоенный и умиротворенный, Беппе возвращается к себе в каморку.

Мария уже давно спит на широкой двуспальной кровати, в углу за занавеской, а на столике, прямо против двери стоят потрепанные башмаки, дожидающиеся починки.

— Porca Madonna! — восклицает Беппе и растерянно смотрит на башмаки; затем он круто поворачивает обратно и вихрем взлетает на верх лестницы.

У русского все еще горит свет, и он на корточках перед камином усердно мешает щипцами в черной груде сгоревших бумаг.

— Когда вы уезжаете? — залпом выпаливает вконец запыхавшийся Беппе.

— Когда?... — задумчиво отвечает русский. — Хотел завтра, да не выгорело. Еду послезавтра. А что?

— Да с вашими башмаками... К послезавтра я успею. Только... не лучше ли вам сшить новые? Теперь зима, в России, говорят, снег не тает, и в старых вам будет холодно, а я бы уж смастерил...

Русский чешет голову и усмехается.

— Конечно, следовало бы новые. Ну, не беда, там, думаю, достану, а доехать и этих хватит. Вы уж постарайтесь, товарищ, их подправить. Успеете?

— Успею, — отвечает Беппе и, пожелав спокойной ночи, спускается вниз.

Усевшись на низеньком табурете перед столиком, он долго и внимательно изучает многочисленные

раны обуви, нанесенные временем. Глаза его щурятся, лоб собирается складками, круглые очки в жестяной оправе съехали на нос.

— Нельзя, невозможно ходить в такой обуви по снегу, — бормочет он и укоризненно качает головой.

Потом он идет к шкафику в углу за постелью и снимает с него глиняную свинку с дырой в спине. Опрокинув свинью вверх ногами, он долго и энергично трясет ею над столиком.

Из свиньи выкатывается несколько бронзовых монет и одна серебряная, почерневшая от времени и сырости.

Беппе откладывает их в сторону и продолжает трясти копилку.

Внутри глухо позвякивает, но ничего больше не выпадает из отверстия в свиной спине.

Тогда Беппе берет молоток и одним ударом взламывает брюхо безделушки. На стол вываливается кучка медных, бронзовых и старых серебряных монет.

Подсчитав их, Беппе задумчиво трет подбородок и долго размышляет.

— Это на головки, а подметки ведь есть у меня, — соображает он вслух и весело потирает руки.

Рано утром он отправляется на рынок, и когда русский спускается с лестницы, Беппе уже сидит на своем обычном месте в переднике и очках.

Весь день он усердно работает, даже обед Мария подает ему на столик, заваленный инструментами.

Работает и поздно ночью,

Рано утром на столике стоит пара крепких, кряжистых ботинок, с подошвой невиданной толщины.

Взъерошенный, сонный и довольный, Беппе внимательно осматривает их, бережно лаская заскорузлыми пальцами совершеннейшее из своих произведений.

— Вот это вещь, а то вздумал по снегу в старых...

МАТЬ.

Когда Беппе был совсем еще малышем, матери приходилось бегать за ним по огромной кухне с ложкой поленты и всячески уговаривать съесть. Мальчик всегда был бледный, худенький, и, хотя никогда ничем не хворал, матери все казалось, что он слишком слаб и нуждается в еде больше младшего крепыша Джулио, а он ел все меньше и меньше. Когда он стал школяром и, уходя из дому с ломтем хлеба в сумке, приносил его вечером нетронутым домой, мать приходила в отчаяние.

— Из мальца не будет толку, — строго говорил покойный отец. — Кто не ест толком, тот и работать будет так же, — и одобрительно смотрел на Джулио, после своей порции обычно съедавшего и порцию брата.

Джулио всегда был готов поесть, и когда в начале войны не стало вдруг хлеба на рынке, он ругался и ссорился с матерью за слишком маленькие кусочки, подававшиеся к обеду. В это время отца

давно уже не было на свете. Мать ходила на поденную, а Беппе служил на заводе. Он был попрежнему тощ и бледен и ел еще меньше, чем в детстве, но работал он во-всю, и без него осиротевшая семья не смогла бы сводить концы с концами.

Отец оказался неправ. Джулио ел все больше и больше, креп с каждым днем, а за работу и не думал браться. Ему минуло уже восемнадцать, а дела по душе он все еще себе не находил.

Мечтою его было стать приказчиком в бакалейном магазине, но даже на должности простого мальчишки для посылок он не удержался. Аппетит его сгубил: Джулио не удержался и «попробовал» сыру. «Проба» стала повторяться и увеличиваться. Дело кончилось изгнанием мальчишки из рая.

Пробовал его брат устроить в типографию, но работа без еды не пришлась по вкусу Джулио, а о заводе он и слышать не хотел. Так и болтался без дела. Но когда Беппе пришлось итти на войну, вопрос о месте для Джулио стал во всей остроте, и волей-неволей пришлось взяться за работу и ему.

Работы в стране было много, рабочих рук мало, и плата была повышена. Джулио посчастливилось получить место приказчика; правда, не в магазине, а в жалкой лавчонке на окраине; хозяина призвали, а жена его не умела одна справиться с делом.

Малый в общем устроился недурно, еще больше порозовел, даже полнеть начал. И вдруг на третий год благополучия призвали и его.

О Беппе давно не было вестей, мать перебралась к брату, недавно овдовевшему, и вела его хозяйство не то за хозяйку — жалованья ей не платили, — не то за прислугу, получая объедки и не смея пикнуть перед суровым родственником.

Пришлось Джулио надеть ранец и маршировать. Глянец его розовых щек сразу спал, но до передовых линий он и не дошел еще, как война кончилась. Две вещи он вынес с войны: панический страх перед начальническими погонами и ненависть ко всему, что будоражит налаженную жизнь.

Вернулся домой и Беппе. Он еще больше похудел, глаза стали огромными, и блеск их был злой и острый. Война и его научила ненависти, но братья еще более чужды стали друг другу.

Беппе вернулся на завод и тотчас же взял мать домой, предварительно изругав сурового родственника, а Джулио снова заболтался без дела. Единственное, чем он занялся, — это хроническое сидение в кафе да посещение общества «бывших военных». Называлось это «устраиваться»; «устраиванье» тянулось без конца.

Мать, впрочем, не роптала; после пребывания у родственника она как-то осела, затихла и стала очень пуглива. Стоило Джулио повысить голос, — а он любил его повышать — или же всегда к ней ласковому Беппе промолчать весь обед, — а он становился все молчаливее и часто уходил из дому по вечерам, — как бедная Ассунта горько складывала губы и начинала тихонько плакать.

Старость, тяжкая немощь бедняков подходила к ней и образ ее пугал несчастную. От мысли о ней Ассунта старилась прежде времени. Усвоила себе походку легкую и неровную, горбила спину и с мучительной тоской ждала смерти. А умирать не хотелось.

Жилось все же плохо и с каждым днем становилось хуже. И ночью в кровати, под вытертым от времени, плохо греющим одеялом, Ассунта просыпалась и начинала думать вечную думу всех женщин своего квартала: что̀ варить завтра? Отвечать на этот вопрос становилось все труднее и труднее, и иногда Ассунте казалось, что померeть, пожалуй, уже и не так плохо.

* * *

Запыхавшийся от быстрого бега и от восторга мальчонка крикнул с низу лестницы:

— Сора *) Ассунта, Джулио повели в Мурате **).

Ассунта ахнула, уронила грелку с углями и, не взвидя света, бросилась вниз, по крутой лестнице. Вестник несчастья стоял у порога и весело оглядывался кругом.

— Врешь? Нарочно выдумал! — почти обрадовалась старуха его сияющему виду.

Мальчонка состроил серьезную мину и обидчиво возразил:

---

*) Сокращенное синьора.
**) Тюрьма во Флоренции.

— Ничего не вру! Взяли за Пратскими воротами, у сора Умберта в лавке.

— За что? — пролепетала Ассунта.

У жены Умберто Джулио служил до солдатчины, но Ассунта не знала, что ее сын продолжал бывать там.

— Убил самого хозяина! — захлебываясь, выпалил мальчонка и, взвизгнув от восторга, понесся к площади, поскорее распространить сенсационную новость.

У Ассунты потемнело в глазах, и она сразу опустилась на ступеньки, как мешок, из которого вытряхнули всю муку. Здесь ее нашел Беппе, спешивший на обед в перерыве. Узнав печальную новость, он вместо обеда отправился выяснять дело на месте происшествия. Джулио действительно арестовали, но убийства не было. Умберто застал его с женою, жестоко избил обоих, и все трое попали в участок.

У Ассунты отлегло от сердца, зато Беппе был мрачен, как ночь. Он сдружился с Умберто еще на войне, и обидно ему было, что его родной брат оскорбил приятеля. Была причина и посерьезней: в лавчонке Умберто, в задней комнате, по вечерам бывали собрания, о которых полиции совсем знать не следовало, и арест хозяина лавчонки был очень некстати.

Джулио освободили очень быстро.

Перед выходом из участка он имел длинный секретный разговор с одним из «начальников» —

большего он и не знал о том человеке, к которому его ввели однажды поздно вечером.

После этого разговора Джулио вышел более уверенной походкой, чем вошел. Его обласкали, ему обещали работу, назначили «безработное» временное пособие. И все это потому, что он был членом общества «бывших военных». Правительство заботилось о своих верных солдатах, и сердце Джулио преисполнилось благодарностью. Теперь он аккуратно, раз в неделю, получал пособие и регулярно посещал клуб своего «Фашио». Поиски работы окончательно прекратились: работу в близком будущем обещали фашисты. А пока Беппе попрежнему содержал семью; пособие уходило на мелкие расходы Джулио: галстухи, кафе и женщин.

Джулио расцвел, пополнел, повеселел и стал даже ласков с матерью. Но сердце Ассунты болело больше прежнего, и ласка Джулио не радовала ее: Беппе становился все мрачнее и худел со дня на день, и матери казалось, что младший сын толстеет за счет старшего.

Когда за столом розовый бездельник протягивал руку за «прибавкой», старуха всегда спешила сначала предложить старшему, но тот никогда не доедал и первой порции, и, как в дни далекого детства, младший, кроме прибавки, доедал еще и порцию брата.

У Ассунты при виде этого загоралось нечто вроде враждебного чувства к Джулио. Но она ни-

чем не обнаруживала этого, и лишь крепко сжимала под передником свои узловатые, наболевшие руки при каждом взрыве его грохочущего хохота. Несмотря на ласковость младшего сына, она его почти боялась и всячески старалась хитрить с ним жалкой, старушечьей хитростью. Она никогда не отвечала прямо на его вопросы, намеренно лгала ему во всяких пустяках, и самое ничтожное событие их повседневной жизни пыталась скрыть от него. В этом состояла ее борьба с тем, кого она инстинктивно чувствовала врагом Беппе. И это ощущение борьбы подогревало ее сгущавшуюся, медленно текущую кровь, опьяняло, давало смысл угасавшей жизни.

Длинными бессонными ночами старуха уже не думала о близкой смерти и не замирала от ужаса пред ее грозным ликом. Она гордо перебирала в памяти все свои ухищрения, все свои победы ушедшего дня и хитро строила планы новых. Джулио смутно чувствовал бессильную, жалящую, паутинную работу матери и однажды досадливо и грубо сказал ей в ответ на какую-то особо замысловатую путаницу:

— Ты из ума выжила, старая!

У Ассунты трепыхнулись руки, и, выпрямив нарочито согнутый стан, она почти радостно вскрикнула:

— Ага...

И вызов, и испуг, и почти ненависть прозвучали в ее выкрике.

* * *

Первую «карательную» экспедицию фашисты произвели без участия Джулио в соседнем городишке.

В клубе в тот же день стали известны результаты боевого выступления товарищей, и было решено устроить парадную встречу отряду.

Развевались трехцветные флаги, гремели трубы, и, тяжело громыхая в такт музыке коваными дубинками, проходили по улицам замершего предместья сомкнутые ряды «победителей». За ними ехал отряд стражников-циклистов. Ни одного мальчишки не виднелось подле отряда, и было жуткое отчуждение в одиноком без толпы марше «героев».

На пьяном банкете повествовали о подвигах упоенные безнаказанностью люди, и так ужасны были эти деяния, что на миг в отуманенном мозгу Джулио мелькнул луч страшного познания истины. Мелькнул и погас.

Ассунта брезгливо встретила пьяного, — впервые сын приходил в таком виде домой, — и страшно потемнело лицо у Беппе, выглянувшего на стук и бормотанье.

В лавочке Умберто на другой день долго и беспокойно сговаривались в задней комнате, и целую неделю ночной тревогой шевелились притихшие улицы предместья.

Беппе не ночевал больше дома и лишь на минуту забегал вечерком перехватить кусок. Он весь почернел, и глаза его точно потухли. Ассунта тоже не

спала ночи, с ненавистью прислушиваясь к рокочущему храпу Джулио и вздрагивая при каждом шуме на улице.

Она ждала недоброго, и сердце ее било набат в высохшей груди всю ночь напролет. Днем она машинально двигалась по квартирке, машинально шла на рынок и всюду — дома и на улице — прислушивалась.

Она перестала горбиться, походка ее приобрела легкую, бесшумную эластичность хищного крадущегося зверя. Она беспрестанно оборачивалась, внезапно останавливалась на ходу и пытливо вглядывалась в каждый угол, в каждую тень на дороге или у стены. Она не пыталась успокоить себя, она взвинчивала смутную тревогу и крепко держалась за все страхи, приходившие ей в голову.

Суеверно думалось ей, что так она — настороже, и настоящее горе отойдет от нее, вспугнутое тревожным набатом сердца.

Но когда, особенно спокойный, как бы просветлевший вдруг, пришел домой не вечером, а днем Беппе и не ушел на ночь, сердце ее не отошло и не согрелось от его ласкового вида и нежных забытых слов «мамина, мамуччия моя».

Весь вечер провели они одни, без Джулио, но не растаял ледяной страх материнского сердца от этой нечаянной радости. И то, что на ночь не пришел другой сын, и снова их ночевало в доме только двое, точно отныне один только сын у нее оставался, — еще теснее сжало ужасом оледеневшее сердце.

Всю ночь Ассунта пролежала без сна, всю ночь набатом гудело в иссохшей груди больное сердце. А на рассвете, нежно обняв и расцеловав мать, ушел из дому и Беппе.

Джулио так и не вернулся. Он ночевал в клубе «Фашио», в углу, на полу, подложив под голову плащ, в полном боевом вооружении. Спал он, впрочем, плохо. Военных действий он не любил; и то, что «Фашио» затеяло это выступление, очень озабочивало Джулио.

В конце концов — та же война и почти те же опасности. Что́ бы там ни говорили вожди отрядов о помощи стражников и даже, в критическую минуту, королевских войск, Джулио прекрасно знал настроение рабочих масс предместья и больше верил тому гневному презрению, которое читал в глазах брата, чем сладким речам организаторов-фашистов.

Глаза Беппе, казалось, прорезывали тьму комнаты и нешуточной угрозой жгли притаившегося в углу бездельника.

Хмурый и вялый, поднялся на рассвете Джулио, да и у прочих лица были не из довольных. Одна вещь быть в «Фашио», носить его значки, внушая страх населению и почтение полиции. Другая, — о, совсем другая! — выстраиваться боевым порядком не для парадирования пред цветником нарядных барышень и офицеров, а для нападения на тех, кто, при всей своей безоружности, умеет защищаться.

Когда раздался окрик — «подтянись!», — у Джулио екнуло сердце... Куда лучше было бы в этот час сидеть дома, в кухне у очага, и слушать, как булькает закипающий кофе. В сущности фашизм оказался вовсе уж не таким выгодным предприятием, как показалось вначале. Джулио почти раскаивался, что записался в «Фашио», и, выстраиваясь, глухо бормотал проклятия своей собачьей судьбе.

Ряды двинулись по насторожившимся, сырым от утреннего тумана улицам, где за каждым углом, за каждым камнем могла скрываться опасность. У Джулио зуб на зуб не попадал. Ему всюду чудились тени притаившихся врагов, и при встречах с редкими в этот час случайными прохожими пальцы его впивались в ручную гранату. Но прохожий, объятый паникой, спешил скрыться, если успевал, или, прижимаясь к стенам домов, провожал отряд взглядом ненавидящего загнанного зверя.

И страх сменялся самоуверенностью и бахвальством. «Боятся!» — думал Джулио, но через минуту страх снова овладевал им, страх и глухой гнев на тех, кто обеспокоил его сладкое безделье.

— Канальи! Изменники! — разжигал он себя, все дальше уходя по сырым плитам старого молчаливого города.

Предместье молчало, молчали узкие кривые улочки, но здесь — уже наверное — за каждой дверью, за каждым ставнем замкнувшихся в гроз-

ном ожидании домов ждала смерть, и ее холодный неумолимый взгляд чувствовал на себе не только Джулио, но и весь, такой неуместный на этих улицах труда и нужды, вооруженный с головы до ног отряд.

Свернули в боковую улочку, знакомую улочку, где родился и вырос Джулио. Из-за неплотно прикрытых ставень глянуло белое в бледном свете утра лицо Ассунты, с уходом Беппе не покидавшей окна.

Завидя отряд, старуха почуяла близкую опасность, грозившую сыну, и, накинув на плечи темную шаль и замкнув дверь опустелой квартирки, спустилась на улицу. То ускоряя, то замедляя шаг, кралась она легкой неслышной поступью за толпой готовых к убийству ее сына людей.

В этом она была убеждена.

Это было то страшное, что давно чуяло ее сердце и чего не в силах была она отклонить неугасавшей тревогой своего сердца. Вот оно пришло. И в грозный час она должна была быть на месте.

И когда у входа на внутреннюю площадь квартала затрещали выстрелы и загремели взрывы ручных гранат, она продолжала итти вперед, не обращая внимания на дым и смерть, покрывшие вдруг площадь.

Она искала сына и, найдя его, свернувшегося набок в углу площади, скорее угадала, чем узнала, его темноволосую голову, залитую кровью.

Она присела рядом с ним, положила тяжелую, с изуродованным взрывом лицом голову к себе на

колени и, охватив ее сухими дрожащими руками, завыла, как волчица над убитым детенышем. Вой ее пронесся по всей площади и покрыл собой шум ожесточенной борьбы.

Пробегавшая группа фашистов остановилась на углу площади.

— Уйми старую ведьму! — крикнул молодой рыжий парень, передавая свой револьвер Джулио и указывая на старуху.

ЕГО ИМЯ.

Тень от горы упала тяжелым щитом, перегородившим тропинку. До куста джинепры ярко горело солнце, расплавляя в золотые блики желтые цветы кустарника, а за кустом чернело огромное круглое пятно, и вступавшим в него овцам становилось холодно. Они остановились все сразу, и на миг смолкли их пронзительные голоса, вперебивку перекликавшиеся в посвежевшем воздухе.

Волнуясь и колебля округлые, уже обросшие после весенней стрижки спины, овцы столпились тесной кучей. В центре стояла молодая овца, час тому назад ставшая матерью на мягкой траве плоскогорья, ярко залитого солнцем. Это событие переполнило ее неизведанными чувствами волнения и острой тревоги. Неуверенно ступая ослабевшими ногами, шла она сбоку пастуха, несшего на руках взъерошенного, пятнами просыхающего новорожденного, дрожащего всеми членами. Матери мучительно хотелось лечь, примять к теплым бокам и брюху детеныша и лизать его, успокаивая

свою и его слабость. Но пастух шел, нес ягненка, и она шла за ним, изредка жалко и просительно вскрикивая.

Вступив в темный круг, пастух заботливо прикрыл ягненка полой своего плаща, и от жесткого прикосновения колючей шерсти ягненок заблеял тонким, дрожащим, жалующимся голоском. Мать сейчас же откликнулась и остановилась перед коленами пастуха. И все овцы подхватили голос матери и сгрудились вокруг человека. Несколько минут они, налезая одна на другую, топтались на месте и вперегонку блеяли недоумевающими, тревожными голосами. И когда смолкли, пастух толкнул коленом мать и крикнул:

— Ге, ге! Пошли домой!

Колыхаясь круглыми спинами, стадо двинулось вперед и вышло из черного холодного круга на яркий блеск заходящего солнца. Смешно вытягиваясь на тени, шагали по вздымавшимся с края тропинки круглым откосам черные силуэты овец на высоких, как бамбуковые стебли, ножках, а за ними, уходя головой под самую вершину горы и переломившись на виноградной террасе набок, шла тень пастуха с высоким загнутым посохом. Сзади всех, значительно отстав, шла, мотая мохнатой в репьях головой, огромная овчарка, отражавшаяся на тени допотопным неведомым чудовищем.

За поворотом тени дрогнули, свернулись и легли на белой известковой пыли проезжей дороги. Сбоку

раскинулся растрепанный горный поселок, за ним — загон для овец. Только здесь молодая мать легла, и дрожащий детеныш прильнул к ее мягкому теплому брюху, от которого так недавно отделился.

Пастух вошел в низкую, жаркую от неостывших каменных стен постройку, в которой жил он и его семья, где готовились круглые сыры и складывались в период стрижки мешки с нечесаной шерстью. Овчарка растянулась у графитной плиты, служившей порогом. Женщины, гремя подойниками, вышли доить овец. Старик сел у очага, чтобы следить за полентой, пар от которой он всегда чуял, как только вступал с горной тропы на проезжую дорогу.

Вернулись женщины с полными подойниками, пришел весь в мраморной пыли, как мукою обсеян, сын Антонио с ближайших ломок, и поспела полента.

С трудом ступая отяжелевшими ногами, подала молодая женщина фиаско темного вина и расставила на столе перед очагом глиняные тарелки. За стол она не села и, съежившись в углу, раскачивала из стороны в сторону свое грузное с непомерно вздувшимся животом тело. Старуха торопливо ела, изредка кидая озабоченные взгляды в темный угол возле очага. Женщина продолжала раскачиваться, но ни одного стона не слетало с ее губ.

И только когда поевшие мужчины вышли осмотреть на ночь загон, а старуха убрала со стола и

вымыла посуду, из угла раздался первый страшный крик:

— О, мама! Умираю я...

Визг, рев и вой долетали до самого загона, будя засыпавших овец. Ворочаясь и толкаясь в темноте безлунной ночи, они то вставали, то снова ложились, сопя и шумно фыркая в ответ на горестные жалобы женщины, раздираемой новой жизнью, выходившей из окровавленных ее недр.

Овчарка бесшумной тенью подходила от загона к порогу яркоосвещенного дома, лизала руку хозяина, безмолвно сидевшего у порога, и снова уходила во тьму. Антонио курил одну за другою жесткие вонючие тосканы*), ломал себе руки и в промежутки подкидывал хворост на шумный очаг.

Вопли и рев все учащались и скоро перешли в сплошной нечеловеческий вой, достигший такой силы, что все овцы встали как одна, и пес, не выдержав напора человеческой муки, завыл тонким дрожащим голосом.

Сразу смолкли, точно оборвались, страшные звуки, и в наступившей великой тишине на миг воцарилось ледяное дыхание смерти.

Антонио дрогнул и, встав с камня, пошатнулся. Слабый прерывающийся крик рожденного прорезал мрак и молчание ночи.

---

*) Дешевый сорт сигар из тосканского табака.

* * *

— Как ты думаешь назвать его? — спросил старик сына.

Антонио поднял голову к клочку газетной бумаги, с которой глядело вниз серым пятном крутолобое с прищуренным глазом широкое лицо.

— Ленин будет его имя, — торжественно, почти молитвенно, произнес он.

Старуха была в парадной, пахнущей мятой и базиликой шали и расшитом блестками бархатном корсаже. Длинные коралловые серьги свисали вдоль высохших темных щек, беззубый рот улыбался, и сухие, с проступающими корнями вен руки нежно баюкали нового человека. Но старик сам хотел нести внука в муничипио.

В белоснежной рубахе и жестком плаще двинулся он за своим стадом, бережно неся в руках хрупкий сверток. Овчарка бежала сбоку беспокойных, торопившихся на свежий простор горного луга овец, а маленький ягненок на уже окрепших тоненьких ножках бежал у ног человека с радостным бессмысленным блеянием.

На повороте за холмом пахнуло свежестью, и старик бережно закрыл внука полою. Во внезапной темноте ребенок звонко заплакал, и насторожившиеся овцы сразу остановились, толпясь и наседая друг на друга. Но ребенок замолк, и стадо двинулось дальше, колыхаясь круглыми, розовыми от восходящего солнца спинами.

У входа в узкую с высокими каменными стенами домов улицу стадо снова остановилось, разочарованное и недовольное, но на широкой пьяцетте пред муничипио успокоила их трава, пробивавшаяся меж старых растрескавшихся плит.

Овчарка растянулась у тяжелых окованных железными полосами дверей, куда вошел пастух. Старуха уселась на парапете. Лицо ее потухло, и радость сменилась тупым и покорным выражением, выработанным привычкой к очень долгим ожиданиям.

Пастух распахнул плащ и снял широкополую шляпу, входя в старинный, сводчатый зал с рядом перегородок. Из-за решетчатого оконца выглянула косматая, цвета перца с солью голова.

— Регистрируешь?

— Да, синьор писарь, — ответил пастух, отвешивая низкий поклон и одновременно выставляя вперед драгоценную ношу.

— Подожди доктора. В такую рань только людей беспокоишь, — пробурчала голова и скрылась за окошечком.

— Где же рань, синьор писарь? Солнце давно взошло, и овцы мои чуть загона не сломали. Сын на работу ушел, это его сына я принес, внук мой, мужеский пол. Смотрите, — и старик снова поднял к окошку ребенка.

— Жди доктора, говорят тебе, — донесся из-за решетки голос, — и синдак нужен, я печати не могу приложить. Жди!

— Или Бенито, в честь вождя *), — добавил синдак.

— Есть столько великих имен наших, а не чужестранных, например Данте... — раздумчиво промолвил доктор.

— Сын дал ему это имя, и не мне менять его. Он народил, он и называет: такое его право, — упрямо ответил старый пастух.

— Пишите его имя Ленин, — обратился он к писарю.

И снова на минуту воцарилось молчание в высоком старинном зале.

Доктор подошел к пастуху, нагнулся над новорожденным:

— Хороший мальчишка! Послушай, старый, за что ты хочешь испортить и сыну и внуку жизнь? Этого имени не простят им; ты знаешь, в стране строгости. Не упрямься. Ну, назови его Балила, ты знаешь:

Ragazzi d'Italia si chiamano Balila **).

Глаза старика насмешливо блеснули.

— Новые времена — новые песни, синьор доктор! Кто знает, пожалуй, скоро будут петь:

Ragazzi d'Italia si chiamano Lenin!

---

*) Бенито Муссолини.

**) «Мальчики Италии зовутся» „Балила“ — популярная песня националистов. Балила — генуэзский уличный мальчик-герой, первый бросивший камень в австрийских жандармов и этим начавший народное восстание против чужестранного владычества.

Третий раз раздалось под старыми сводами это имя, и третий раз наступила тишина в большом зале.

Синдак нетерпеливо повернулся к писарю:

— Пишите, на его голову! — и он сердито склонился над бумагами.

Пастух, вытянув шею, внимательно следил за движением пера.

— Смотрите, синьор писарь, пишите верно! Я неграмотный, но мой Антонио умеет читать и по писанному. Покорнейше благодарю вас, синьория ваша!

И, низко поклонившись неподвижному синдаку, старик вышел из муничипио, неловко прикрывая внука раскрытыми пеленками.

Солнце уже стояло высоко на небе. Блеск его разбудил ребенка, и он громко закричал. Овцы обрадованно окружили человека, и нетерпеливо топоча по старым нагревшимся плитам, жалобным блеянием просили свежей прохлады луга.

Старик передал ребенка жене.

— Неси его домой да скажи матери, чтобы хорошо накормила. Мы с ним уже выдержали целое сражение, — и, нахлобучив на глаза шляпу, погнал овец в горы.

СОДЕРЖАНИЕ